

Наиль
Гаитбаев

СВЕТЯТ
ОКНА
В НОЧИ

НОВИНКИ ◀ СОВРЕМЕННОСТИ ▶

Наиль
Гаитбаев

СВЕТЯТ
ОКНА
В НОЧИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Перевод с башкирского
Юрия Поройкова

МОСКВА
«СОВРЕМЕННОСТЬ»
1988

Рецензент **В. С. ВАСИЛЕВСКИЙ**
Художник **В. ЛАПИН**

Гаитбаев Н. А.

Г14 Светят окна в ночи: Повести и рассказы/Пер. с башк. Ю. Поройкова; Худож. В. Лапин. — М.: Современник, 1988. — 190 с., ил. — («Новинки «Современника»).

Поиски человеком единственно верного пути, личного счастья — ведущая тема произведений башкирского прозаика, участника VII Всесоюзного совещания молодых писателей, Наиля Гаитбаева. Поиск своего места в жизни, дружбы, любви понимается его героями не с узкоэгоистических, потребительских позиций. Для них — студентов, рабочих, инженеров — дороги нравственно здоровые, гармоничные отношения, так необходимые в любом коллективе и в обществе в целом. Задумываясь над жизненными неудачами своих молодых современников, писатель приходит к неоднозначному ответу, ненавязчиво подводя к мысли о том, как сложна и интересна каждая человеческая судьба, как бережно должны относиться люди друг к другу.

Г $\frac{4702110000-062}{M106(03)-88}$ 235—87

ISBN 5-270-00657-X



Повести



СВЕТЯТ ОКНА В НОЧИ

Гумера Хабирова сняли с работы.

Как только закончилось затянувшееся совещание, он, ни на кого не глядя, первым покинул кабинет и вышел на улицу.

А там редела, свистела, бушевала метель — одна из самых свирепых в нынешнюю зиму. Раскачивались оледенелые провода, гудели столбы, мотались из стороны в сторону деревья.

Хабиров прикрыл лицо воротником куртки, защищаясь от ветра, холода и колючей снежной пыли, и, спустившись с крыльца, зашагал прочь.

Он миновал столовую, здание цеха, где совсем недавно работал. Мелькнула мысль — зайти к ребятам, но тут же ее отбросил. Зачем? Что он скажет им, что они скажут ему? Но и в холодную, сумрачную, неуютную комнату в общежитии идти тоже не хотелось. С тоски там завоешь в одиночестве, это уж точно! Нет, если и идти сейчас куда, так только к Зифе. Ей ничего не придется объяснять, она с полуслова все понимает. Откроет дверь, улыбнется и скажет, наверное: «Долго же ты пропадал, милый!» Но не упрек прозвучит в ее голосе, а радость, оттого что он наконец-то пришел. Когда тебя ждут, можешь каким угодно заявляться — и сердитым, и озабоченным, и раздраженным. И с бедой своей — можешь. Молча порог переступишь — в

чужое, ставшее таким привычным тепло, навстречу ласковым, нежным, ждущим рукам, утонешь лицом в пахучих волосах — и сразу станет легче, все печали забудутся-исчезнут, словно их никогда и не было...

Хабиров ускорил шаг.

Что и говорить, давненько он у Зифы не был. Даже счет дням потерял. С утра до позднего вечера крутился в своем сушильном цехе. Бегал, ругался, спорил, чего-то доказывал, отбивался, хитрил, выкручивался и сам распекал кого-то — выпадает такое времечко в конце каждого месяца, когда все, кажется, с ума посходили, завод на дыбы поднят, телефоны от криков раскалываются, люди, как чумные, мечутся с красными от бессонных ночей глазами, поесть некогда, маму родную и ту забывают, не говоря уж о любимых, начальник цеха голос теряет, как глухонемой, руками команды отдает, говорят, даже материться таким образом научился. Но на Гумера он, как на бога, молится в такие штурмовые дни, потому что от него, механика цеха, все и зависит: будут бесперебойно агрегаты работать, значит, и план будет, и премии, и фабрика из прорыва выскочит. Не раз и не два пожалел Гумер, что ушел из отдела главного механика, дал себя уговорить, польстился на что-то, чего тут и близко не было. То ли дело — первые месяцы после окончания института. Отсидел за столом восемь часов, собрал бумаги, разложил по папочкам, сунул их в ящики письменного стола — и иди-гуляй до следующего утра. Отглажен, при галстукe, в начищенных до блеска штиблетах, хорошим одеколончиком попахиваешь, спину прямо и гордо держишь, вахтер тебе приветливо улыбается в проходной: инженер идет, молодой специалист, как знать, вдруг завтра директором станет!

Какого черта тебе не хватало, Гумер, а?

В ту пору с механиками цеха встречался только на планерках. Смотрел на них, заезженных, крикливых и обидчивых, строго спрашивал за отчеты, в которых то полуправда, то полужошь, то вообще ничего, упрекал за то, что тонут в текучке, не думают о завтрашнем дне завода... Они, конечно, огрызались, не без этого, но все-таки терпеливо выслушивали, даже записывали что-то в своих замызганных блокнотах, и Гумер не без гордости думал тогда, что не зря ест свой хлеб. Потом, правда, один из механиков показал ему блокнот — он, оказывается, рожи разные рисовал да ножки женские... Но это все было уже после того, как Гумер сам механиком стал и с другой стороны стола

очутился — с той, где и правильные слова часто слышатся, да прока от них никакого. От призывов и накачек только настроение портилось, а из старых, давно требующих капитального ремонта агрегатов ничего уже выжать нельзя было.

Гумер вспомнил, как однажды главный механик объединения, вернувшись минут за десять до окончания рабочего дня, тяжело опустился на стул и молча начал выпрямлять смятую крючком папиросу. Вид у него был такой, словно с похорон пришел. Сидит, согнувшись, крупная голова совсем в плечах утонула, курит, глубоко втягивая в себя дым, и смотрит в стену. Гумер, конечно, тоже молчит. А что тут скажешь? Что ни день — авария, что ни день — поломка. Хоть бейся головой об стену — кому чего докажешь? А с него, главного механика, один спрос: все, что крутится, должно крутиться безостановочно. План любой ценой. Так это называется на общепонятном производственном языке.

— Так я пошел? — вздохнул Гумер, прозрачно намекая на то, что он лично трудности начальника понимает, но в данный момент ничем ему помочь не может. Чего зря время терять?

— Подожди, — вяло сказал главный механик и поискал глазами пепельницу. Но ее, конечно, на месте не оказалось, и он, плюнув на тлеющий кончик папиросы, кинул окурочок в пустую корзину под стол. — Нечему там гореть, — добавил главный механик, перехватив взгляд Гумера. — Мы с другого конца гореть будем. Да и горим уже. Как в той песенке о пожарнике: «А вместе с тем горело очень много, но этого никто не замечал». Уяснил?

Гумер с удивлением взглянул на начальника: чего-чего, а уж стихов он от него никак не ожидал! Знать, и впрямь допекло.

Главный механик откинулся на спинку стула и насмешливо переспросил:

— Уяснил? — и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил: — Сколько ты у нас тут штаны протираешь? Пять месяцев? Молодой, здоровый и на бабской должности — бумаги перебираешь. Не надоело еще?

Гумер пожал плечами.

— В общем, был тут у нас разговор о тебе. Там! — начальник показал бровями на потолок. — Пойдешь механиком в сушильный цех. Тот, временный, скис совсем. Ходит как в воду опущенный. Тошно смотреть!

Что из себя представлял сушильный цех, Гумер, конечно, знал. Авральный, можно сказать, цех. Но и себя знал тоже. Во всяком случае чувствовал, что готов на большее, чем копаться в бумагах. Хотелось с головой окунуться в настоящую жизнь, поработать так, чтобы люди с испугом думали о твоём возможном уходе, скажем, в отпуск: «Как же мы тут без тебя?».

Почему и откуда выплыли эти слова, тогда было неясно, но они тем не менее подтолкнули Гумера на быстрый и безоговорочный ответ: «Согласен!»

Главный механик, видимо ожидавший возражений или, по крайней мере, каких-то разговоров, внимательно оглядел Гумера с головы до ног и буркнул: «А то!» — то ли с одобрением, то ли со злорадством.

Человеком он был жестким и решительным, возражений от подчиненных не терпел и говорил часто рублеными, малопонятными фразами, которые, в зависимости от ситуации, могли быть прочитаны и так и сяк. В своём духоподъёмном настроении, вызванном неожиданным и в общем-то лестным предложением, Гумер предпочёл услышать в тёмном по интонации возгласе одобрение, сказав себе, что в скором времени заставит все-таки главного механика разговаривать с собой повежливее.

На том они и расстались, и, уходя, Гумер краешком глаза ухватил, как начальник терзал и без того изувеченную коробку, извлекая из нее короткими, толстыми пальцами очередную папироску...

Выйдя тогда на улицу, Гумер, как и сейчас, поднял воротник, защищаясь от пронизывающего насквозь ветра и снежной колючей пыли. Пригнувшись, почти бегом проскочил заваленный наметенными сугробами двор и вошел в сушильный цех.

Теперь он на все смотрел уже другими глазами. Здесь, где во вращающихся барабанах (длина стальных труб тридцать, а диаметр — четыре метра!) сушился влажный железный концентрат, и было конечное звено огромного технологического и человеческого конвейера, называемого горно-обогачительным комбинатом. Сотни механизмов, машин и оборудования (насосов, воздуходувов, вентиляторов, вакуум-фильтров, конвейеров, калориферов, питателей, дымососов, сгустителей, мостовых кранов, кран-балок), километры всевозможных воздухо-водо-пульпопро-

водов — вот что представляло из себя техническое хозяйство цеха, название которого — сушильный — у непосвященного человека вызывало, очевидно, представление о весьма скудном, если не сказать, примитивном помещении утилитарного назначения. Но именно отсюда выходила конечная продукция, венчавшая труд тысяч людей.

Гумер обошел цех, приглядываясь, прислушиваясь к мерному оглушительному гулу работающих барабанов. Он даже не пытался взглядом охватить эту прорву стучащих, звенящих, шуршащих, булькающих, шипящих, гудящих механизмов, за каждый из которых теперь нес ответственность он, механик цеха.

И впервые со дня окончания института вдруг ощутил почти физически тяжесть того, что взвалил на свои плечи почти добровольно, вспомнив вдруг, как насмешливо (теперь уже в том не было сомнения!) взглянул на него тогда главный механик, как он значительно (и это тоже ясно!) произносил свое тягучее «А то!».

И вроде не совсем чтобы не верил — иначе бы и не предлагал, но и не совсем чтобы был твердо убежден в его кандидатуре — сказал бы что-нибудь определенное, как-то морально поддержал.

Видимо, спорил там, куда бровями показывал, но ничего не выпорил, вот и предложил скрепя сердце.

Зима в тот год была злой, исходила снегом и буранами. Снега выпадало так много, что бульдозеры работали почти без передышки, нагребая огромные, в рост человека, сугробы по сторонам дорог.

С такой же методичностью и неумолимостью наваливались на сушильный цех поломки. Но их нельзя ни разгрести бульдозерами, ни вывезти за город самосвалами, ни спрятаться от них в теплом доме, как от вьюги.

Гумер дневал и ночевал в цехе, но получалось так, что за одним отлаженным агрегатом выходил из строя другой, затем — третий, и так — без конца, словно кто-то злонамеренный специально изобретал технические головоломки, испытывая Гумера и его людей. Все понимали, что единственным выходом было остановить агрегаты, заменить изношенные узлы и тем самым разом решить проблему.

Но это означало бы длительный простой практически всего цеха, а значит, и провал плана и обязательств.

О таком исходе никто не посмел даже заикаться. И они работали, не считаясь со временем, выбиваясь из сил и надеясь лишь на свое многотерпение и удачу. И в самом деле, несмотря на бесконечные поломки, агрегаты действовали, план каким-то чудом вытягивался, а то, что у ремонтников уже и пальцы не сгибались от усталости и стояли рубахи коробом от пота, никого не волновало. Осунувшийся, почерневший лицом Гумер на планерках лишь поигрывал желваками, устав от нескончаемых попреков и угроз. За полгода он прошел здесь такую школу, что мог с закрытыми глазами разобрать и собрать самую сложную машину, по изменившемуся тембру звука определить, какая деталь барахлит в двигателе. Но его умение, хотя кое-что и значило для людей посвященных, начальством ни в грош не ставилось, когда заходила речь о таких материях, как план, сроки, обязательства, договоры, поставки. Тут он был мальчиком для битья, постоянным козлом отпущения, и главным его оружием в словесных баталиях оказалось молчание или уклончивое объяснение, потому что реальные, действительные причины задержек и отставаний никого не интересовали. Важно было сохранить спокойствие, умело увернуться от острой реплики, перевалить свою вину на кого-то другого, как правило, отсутствующего или вообще недосягаемого для начальства, вовремя признать ошибку и пообещать немедленно ее исправить. Эта хитрая наука постигалась с большим трудом, но основательно.

Теперь он не раз с благодарностью вспоминал работу в отделе, куда не доносились дребезжащие, болезненные, прямо-таки чахоточные тарахтения изношенных до предела агрегатов, разрывающие его, Гумера, сердце.

С благодарностью и теплотой, да — так! Ибо только на дистанции понималось, что та самая бумажная, вроде бы никчемная возня, неторопливое размышление над бесстрастными цифрами, вдумчивое прочтение огромного множества ответов, справок, докладных, рапортов давали возможность взглянуть на производство как бы со стороны и представить его как некий единый организм.

Представить и увидеть, как хрупок и ненадежен он из-за застарелых и давно не леченных болезней, понять, что никакими скороспелыми вливаниями ему уже не помочь — нужна радикальная операция.

И чем больше Гумер думал об этом, тем с большим страхом ждал конца каждого месяца, когда приходила в

движение до того сонная, неповоротливая система производственных связей: начиналась чехарда планерок, летучек, заседаний, в цехе постоянно торчал кто-то из начальства. Все что-то требовали, кто-то кого-то распекал, и на механиков смотрели попеременно то как на единственных спасателей, то как на неисправимых бездельников.

В последнюю декаду сушильный цех был лобным местом, на котором «распинали» в первую очередь ремонтников. И за дело, и профилактики ради. А они — работали. И вытаскивали план. И не ждали благодарностей.

Благодарить ремонтников было дурным вкусом.

...Судный день начинался, как всегда, со звонка главного инженера фабрики Сафарова: «Что с агрегатами?»

Вопрос не требовал ответа. Просто у него такая манера говорить — без «здравствуй», без обращения по имени. Гумер терпеливо дождался второй фразы, с которой, собственно, и начинался сам разговор: «Никаких остановок. Ни по какому поводу. Лично мне докладывай о каждом чепе». — «Хорошо», — отвечал Гумер и клал трубку. Потом, оглядевшись по сторонам — нет ли кого рядом? — говорил какие-нибудь крепкие слова. Для разрядки. Теперь ему надо брать себя в руки, просто-таки скручивать нервы в один узел. Чтобы не сорваться. Чтобы пережить своего врага еще на один час, день, неделю.

Может, враг — слишком сильно сказано. Но с этого момента Гумер сжимался, как пружина, и с ненавистью смотрел в дверь, из которой должен был вскоре появиться злой дух по фамилии Сафаров.

Он никогда не приходил без предупреждения.

Когда он там, в своем кабинете, поднимал трубку, здесь, в цехе, знали, что звонит Сафаров. Даже телефон менял тембр звонка. Во всяком случае Гумер, оглохший от грохота барабанов, не различавший иногда слов рядом стоящих людей, этот звонок слышал.

Главный инженер не приходил, а возникал. Маленький, юркий, с мохнатыми рыжими бровями над светлыми пронзительными глазами, он приносил с собой ощущение тревоги и беды.

В цехе его не любили и боялись. Кто-то всерьез утверждал, что Сафаров может взглядом остановить любую машину. Даже многотонные вращающиеся барабаны. Однажды один из них остановился, когда Сафаров снял кеп-

ку, чтобы вытереть пот со лба. Авария произошла из-за прорыва кабеля, но люди связали ее с кепкой главного инженера.

«Слушай, Гумер! — взмолился как-то старый мастер. — Скажи ему, чтоб не ходил сюда. Когда он здесь, механизмы не хотят работать. Или пусть приходит без кепки».

Гумер посмеялся, но просьба запомнилась. Иной раз ему смертельно хотелось пощупать голову главного инженера — нет ли там, под волосами, рожков. Только это было невозможно, потому что Сафаров всегда ходил в кепке. Старой, потертой, с надломленным козырьком.

В штурмовую декаду, когда люди выматывались до чертиков в глазах, они начинали верить во всякую чертовщину.

Но Сафарову на это было наплевать.

Он возникал в самый неподходящий момент, когда в цехе выходило что-нибудь из строя.

Как ему сказать, что поломки происходили из-за его кепки?

А начиналось у них, видимо, так: сначала стычки, потом — ссоры, на людях и наедине, проросшие в устойчивое откровенное недоброжелательство, а то — и вражду. Со временем они, конечно, стали избегать открытых столкновений, да и как иначе? Работа есть работа, каждый занят по горло своим делом, и оба понимали, что, как бы ни складывались и ни сложились уже их отношения, они не могут позволить себе открытого, бескомпромиссного столкновения — тогда кто-то из двух должен победить, а кто-то проиграть. И следовательно, уйти с фабрики. Кто из них первым это понял — неясно.

Возможно, Сафаров счел за благо оставить в покое своего противника, во всяком случае — не дергать его по мелочам, оберегая собственный авторитет и престиж руководителя. Может быть, и Гумер, устав от бессильной злобы, с которой всегда оставался после очередного конфликта с главным инженером, приучил себя смотреть мимо него, а слушать, что называется, вполуха. Как бы там ни было, но общаться они стали гораздо реже, говорить — поспокойнее, и даже видели их иногда вместе в цехе, разговаривающих вполне рассудительно. Словом, как говорит одна русская поговорка — слюбилось-стерпелось, хотя, конечно, ни о какой любви здесь не может быть и речи. Стерпелись-притерлись — это да.

И как хотелось бы сказать, что с помощью взаимных уступок начали они наконец-то постепенно идти навстречу друг другу, проникаясь уважением: один — к организационной хватке, техническим знаниям, быстрой реакции на новое, интересное, неожиданное, другой — к основательности, ответственности, одержимости даже некоторой, когда, забывая о сне и отдыхе, вцеплялся в очередную проблему... Но, увы, они были слишком разными, чтобы ради личного спокойствия поступиться своими принципами.

И, как и следовало ожидать, случилось то, что подспудно зрело и наконец вспучилось, вылезло наружу...

В цехе шел ремонт дымососов. Срок был отпущен просто кошмарный — десять дней, и Хабиров крутился как белка в колесе. Его ругали все, кому не лень, и он, устав огрызаться, перестал подходить к телефону. Чего ради? Если б мог, плюнул бы и на планерки, от которых проку что от козла молока, но это расценили бы как прямое нарушение дисциплины и сняли с работы за милую душу. Чего-чего, а подобного вызова даже тишайший директор фабрики не стерпел бы, не говоря уже о Сафарове. Тот, можно сказать, спит и видит, что Гумер ему такой подарочек сделал! На такую бы принципиальную высоту сей фактик поднял, что до конца дней своих Гумеру пришлось кости свои собирать. Потому и ходил, и сидел, и слушал, в общем, держа нервы в кулаке. А дни тем не менее шли, в график, разработанный на комбинате, они, как ни старались, вписаться не смогли. Оставалась одна надежда — на золотые руки ремонтников, которым как-то удавалось всегда спасать положение в самый что ни на есть последний момент.

Сафаров, полдня ловивший Гумера по телефону, пришел в полное негодование — еще бы, такого ерша всунул ему сам генеральный директор комбината за этот треклятый ремонт! — и двинулся в цех. В другое бы время он, конечно, привел себя в душевный порядок, потому что давно взял на вооружение чью-то блестящую мысль: «Гнев — горячая форма глупости!»

Но когда нас удерживала чужая мудрость от собственных глупостей — пусть покажут этого человека! Хорошо до сушильного цеха идти минут десять, не хочешь, да остынешь, а то бы с пылу-жару таких дров еще наломал бы главный инженер, и так уже прославившийся своим «железным спокойствием».

Ремонтники, хоть и были злы на весь свет, Сафарова

заприметили на дальних подходах и, не сговариваясь, перестали работать.

— Будет сейчас кино! — сказал молодой парень, вытирая руки ветошью.

— Ага! — согласился с ним другой, постарше. — С буфетом и танцами. Жаль, Гумера нет...

— Сейчас подойдет! — усмехнулся третий, поглядев в противоположную сторону цеха. — У них, братцы, взаимное чутье.

— А мы передохнем! — обрадовался четвертый. — Все равно пока не выговорятся, работать не дадут.

— Плохо ты Сафарова знаешь! — заметил молодой парень. — Голова у него петрит, будь здоров! Сейчас идейку нам подкинет, и все дела!

Тут и подошел Сафаров и тронул козырек своей знаменитой кепки:

— Здорово, ребята!

Рабочие покивали головами.

— Все возитесь?

— Возимся, — ответил за всех молодой парень. — Или уже не надо?

Но под пристальным и холодно-ироничным взглядом главного инженера взятого тона не выдержал и поспешил добавить:

— Вот начинаем резать старый каркас.

— А зачем? — спросил Сафаров, радуясь вдруг осенившей его мысли. — Зачем резать? — Он обошел дымосос, потрогал руками железо, заглянул под него и внимательно осмотрел балки.

— Так ведь — по плану! — удивился парень. — Скажано — менять каркас, как же без того, чтобы не резать?

— Сколько на все это требуется времени?

— По графику или как идет?

Сафаров дернул плечом — какой уж тут график, чего дурака валять?

— Дня три, — сказал парень, оглядываясь на других рабочих. — Или четыре. Как тут угадаешь? То того не хватает, то этого... Вот резак — дерьмовее, наверное, в стране нет!

— Вчера пустой баллон привезли. Вон валяется! — добавил рабочий постарше. — Три часа из-за этого потеряли...

— А где Хабиров? — перебил его Сафаров.

— Тут где-то...

— Значит, три дня, говорите? — переспросил главный инженер.

— Или четыре... — поправил его молодой рабочий, снова оглядываясь на своих ребят.

— Больно ты днями разбрасываешься, дорогой товарищ! — осадил его Сафаров. — Не ремонт, смотрю, а просто малина... Как вы думаете, обойтись без демонтажа можно?

— Это как? — удивился молодой парень.

— Повторить?

— Вы там планируете, наше дело маленькое... А вообще-то, и этот бы еще года два простоял. До капиталки.

— Все так считают? — спросил Сафаров.

— Заплатки они и есть заплатки! — уклончиво сказал рабочий постарше. — Много ли прока от такого ремонта: сегодня — дымососы, завтра — насосы... Морока одна! Доведем завод до ручки, с кого спрашивать будут?

— Без работы не останемся, чего ты волнуешься? — заметил стоящий рядом с ним ремонтник. — Вон напротив — механический завод. Сходи, почитай объявления. Я узнавал, там премии поболее, чем у нас. И порядок покрепче. Да и вообще...

— Разговорились! — вклинился молодой парень недовольно. — А время между прочим — тют-тют! Так как, товарищ Сафаров, резать или не резать?

— Я от вас ответа жду!

— А чего ждать? У нас начальник Хабиров. Вы ему прикажите, он — нам. И все дела! — махнул рукой молодой парень. — Да вот он и сам!

— О чем речь? — спросил подошедший Гумер и нахмурился, увидев Сафарова.

— О каркасе, — сказал молодой парень. — Резать или не резать.

— Это как?

— Вот он объяснит — как...

Он показал глазами на Сафарова. Гумер повернулся к главному инженеру и несколько мгновений смотрел на него, не мигая.

— Шутишь?

— Ну ладно, мы пойдем пока покурим, — пробормотал молодой парень и потянул за собой других рабочих. — Пусть разбираются без нас.

Сафаров проследил за ними взглядом и надвинул кепку на лоб.

— Выбирай все-таки выражения, — сказал он холодно. — Мы ведь не на танцплощадке.

— Тогда объясни, почему остановил работу? — Гумер изо всех сил сдерживал себя.

— Остановил, потому что ты выбился из графика. Собственно, графика уже давно нет.

— Ты хорошо знаешь причины. График был нереальный с самого начала. И мы делаем все, что можем.

— Делать — мало. Думать надо, — заметил Сафаров.

— Ну и что же ты надумал?

— Может, пройдем в твою кабину? — предложил главный инженер. — Там и поговорим. С глазу, так сказать, на глаз.

— Мы и тут одни... Только побыстрее, пожалуйста. Нам надо работать.

— Хорошо, — согласился Сафаров. Он старался говорить спокойно, чувствуя, как накален Гумер. Нужно, чтобы этот упрямец дослушал до конца. И согласился. Все остальное — потом. У них еще будет время помериться характерами. И словами — тоже. — Оставь как есть. Покрасишь, и каркас послужит еще.

— Нет, не послужит, — сказал Гумер. — Его надо заменять. И это предусмотрено планом. Или ты предлагаешь мне покрасить и указать, что ремонт сделан?

— Сам сообразишь, что указать, — поморщился Сафаров. — Надо войти в график.

— Липу делать я не буду!

— Это не липа, а здравый смысл. У тебя есть более важные дела.

— Здесь нет менее важных и более важных. Без дымососа мы работать не можем. И ты это знаешь. Впрочем, отдай приказ. Письменный, конечно. — Гумер прекрасно понимал, что никакого такого приказа тот отдавать не будет, но сколько же можно спорить?

Сафаров дернул щекой, окинул Гумера холодным взглядом и ушел.

Конечно, они не уложились в график. Гумер схлопотал себе выговор, а затем три месяца подряд не получал премии. И хотя причины были разные, он знал, что этот каркас ему еще не раз припомнится. Еще бы!

* * *

...Сафаров был умен и удачлив. А может, и наоборот — сначала удачлив, а потом — умен. На фабрике начал ра-

ботать мастером. Держался на первых порах в тени — приглядываясь, прикидывая... С другими мастерами старался поддерживать хорошие отношения, начальство просьбами не тревожил, указания выполнял точно в срок. С рабочими тоже ладил, не приказывал — просил; когда у кого что не ладилось, умел показать, как и что надо делать.

В общем, числился в твердых середнячках, на которых, по убеждению начальства, и держится производство. Их, как правило, не обходят ни премиями, ни наградами. Но отсюда и никуда не выдвигают по той же самой причине — люди верные, надежные, но звезд с неба не хватают. Дело, что называется, хорошо знают, только мало этого для выдвижения. Нужны люди рискованные, с идеей, с воображением. И конечно, с характером — твердым, решительным, волевым. За четыре года работы мастером Сафаров много чего узнал, а уж психологию начальства до тонкости постиг. Недаром со всеми секретаршами был на короткой ноге, к каждой свой подход имел: кому цветочки к празднику, кому духи ко дню рождения, кому доброе слово в трудную минуту. Только дураки к начальству липнут, перед их глазами крутятся, во всем угождают, слово против боятся вымолвить. А они, начальники, разные — не всем это нравится. Есть и такие, с которыми каждый раз спорить надо, упираться до последней крайности, чтоб уступить не из-за страха, а как бы исчерпав все аргументы. Тогда о тебе не скажут — «упрям», а с уважением подчеркнут — «неуступчив».

Там — слабость, здесь — характер. Большая разница! Вот почему Сафаров не жалел времени на разговоры с секретаршами, которые о своих начальниках все знали: что любит и чего — не очень, как бумаги читает и какие резолюции накладывает, с кем дольше других беседует, кому чай в мельхиоровых подстаканниках подают, о ком за глаза добрые слова молвят, на кого голос повышают, а кого до самых дверей, поддерживая под локоток, провожают, чьи личные дела после рабочего дня к себе в кабинет запрашивают для просмотра...

Все это Сафаров цепкой молодой памятью схватывал, в голове своей несуетно вынашивал — выстраивал детальный план будущего наступления, потому что уже подходил к концу отмеренный им для себя срок пребывания в должности мастера. Нет, конечно, умен Сафаров, и удачливость его — от ума, от расчета, от терпеливой подготовки своего звездного часа...

На собрании смены, когда социалистическое обязательство, составленное заранее, кто-то нетерпеливо предложил принять сразу в целом, без обсуждения отдельных пунктов, Сафаров неожиданно попросил слова.

Председательствующий с недоумением посмотрел на него — сидел ведь и молчал на предварительном обсуждении, чего лезет сейчас? — но слово предоставил и со скупающей миной уставился в зал.

Рабочие недовольно загудели — чего тут объяснять, дело ясное: надо голосовать, и так засиделись!

Председательствующий уныло постучал карандашом по графину.

Сафаров откашлялся в кулак, вынул из кармана вчетверо сложенный листок, медленно развернул его и стал говорить, не поднимая глаз от бумаги.

Когда он закончил, наступила долгая, тягучая тишина. Люди ошарашенно разглядывали стоящего за низкой трибуной Сафарова, который невозмутимо складывал свой листок. То, что он предложил, ни в какие рамки не укладывалось и звучало вызовом: увеличить обязательства по всем пунктам в два раза!

— А может, сразу в четыре? — насмешливый чей-то голос нарушил затянувшуюся паузу. — Чего уж там мелочиться!

Рабочие задвигались, заговорили разом.

— В четыре нельзя, — спокойно сказал Сафаров, не обращая внимания на шум. — Я могу еще раз повторить расчеты, если кто не слышал.

— Гладко было на бумаге... — заметил пожилой рабочий, сидящий в первом ряду.

— А об оврагах я тоже говорил, — отпарировал Сафаров. — В них, собственно, вся суть. Если мы их устраним общими усилиями, можно будет значительно превысить даже этот рубеж.

— Так дело не делается! — вмешался председательствующий. — С панталыку, говорю, не решаются такие вопросы, товарищ Сафаров! У нас, как-никак, производство. А с экономикой шутки шутить опасно.

— Я консультировался у наших экономистов. Они в принципе с моими расчетами согласны. Более того. Главный экономист комбината считает, что при правильной организации работы мы сможем выполнить обязательства раньше намечаемого срока.

Теперь все взгляды обратились к начальнику цеха, ко-

торый понуро крутил в руках авторучку: для него выступление Сафарова было полной неожиданностью. И уж совсем обескуражило известие о том, что мастер, минуя его, ходил со своими расчетами к экономистам комбината.

«Далеко пойдет парены!» — шепнул он невозмутимому парторгу и поднялся, понимая, что в такой ситуации тот ему не помощник. Надо выкарабкиваться самому и, главное, не терять лица.

— Ну что же, товарищи! — сказал он, лучезарно улыбувшись. — Мы тут посоветовались... — он развел руки в стороны, объединяя всех сидящих в президиуме сразу. — Дело, которое предложил товарищ Сафаров, несомненно стоящее. Но... как бы это точнее выразиться? Одна ласточка весны не делает. Есть и другая смена, с которой тоже не мешает посоветоваться. Это раз. Второе — надо увязать наши возросшие возможности с коллективами других цехов, которые, как вы сами понимаете, будут нас за штаны, извиняюсь, дергать, если мы вдруг в одиночку так рванем...

В зале одобрительно засмеялись. Начальник цеха переждал шум и закончил свою импровизацию на высокой торжественной ноте:

— Будем считать, что у нас состоялся полезный обмен мнениями, и в общем и целом мы все поддерживаем ценное предложение товарища Сафарова. Предлагаю поручить руководству цеха совместно с общественными организациями еще раз провентилировать это предложение и вынести его на утверждение коллектива всего цеха...

Вызвав к себе в кабинет Сафарова, начальник цеха устроил ему хорошую головомойку за партизанщину, но обратный ход давать уже было поздно. Через несколько дней в городской газете появилась статья, поддерживающая молодого мастера, и теперь пришлось выслушивать неприятные слова самому начальнику цеха.

Инициативу Сафарова поддержали в объединении на всех уровнях. Генеральный директор, посетив цех, побеседовал с ним накоротке, остался довольным и погрозил шутливо начальнику цеха пальцем: «А говоришь, не с кем работать! Смотри, какого молодца вырастили!»

К чести Сафарова надо сказать, что он все-таки оказался прав — взятые повышенные обязательства цех выполнил, правда, с небольшим опозданием, но это уже были мелочи. Люди поверили, что можно работать по-другому.

му. Конечно, не обошлось безнеприятностей и накладок — пришлось закручивать гайки, налаживать дисциплину. Несколько человек было уволено за прогулы и опоздания, десятка полтора квалифицированных рабочих подали заявления об уходе. Особенно много забот доставили Сафарову ремонтники — механизмы стали чаще выходить из строя, участились поломки. Инженеры хмурились: режимы работ были почти предельными для этого класса машин, но — удачливым оказался Сафаров! — серьезной аварии не случилось. Сам он работал за троих, тут ему никто ничего не мог сказать, и, когда спустя год его назначили сразу главным инженером фабрики, большинство восприняло это как должное. Тогда он и обзавелся своей знаменитой кепкой, которая одних приводила в священный трепет, других — раздражала.

Энергии Сафарову природа отпустила, очевидно, с таким солидным запасом, что рядом с ним просто опасно было находиться...

Еще одна легенда, рожденная, очевидно, недоброжелателями и завистью!

Неистошимый на выдумки, он давно бы уже поставил все здесь, на фабрике, вверх тормашками, если бы не овладел еще одним весьма редким в наше время качеством — дальновидностью. При всем тщеславии своем был он и предусмотрителен, и осторожен, легко перестраивался, уступая в тактических вопросах, и потому новое дело повел неспешно, с оглядкой на соседей. И год фабрика закончила, вопреки ожиданиям, весьма скромно, заняв второе место. Неудачу отнесли за счет старого трусоватого директора, которого давно пора отправлять на пенсию.

Сафарова даже не упрекнули ни разу, и это произвело впечатление. Понимали, что за таким отношением к нему кроется нечто большее, чем вексель на будущий стремительный рывок.

Знали бы они, прорицатели и пророки, как трудно и тревожно жил Сафаров, проводя бессонные ночи в поисках решения. Его беспокоило состояние техники: агрегаты эксплуатировались почти безостановочно. И если раньше каждый из них до пятидесяти часов ежеквартально находился в ремонте, теперь после устранения очередной поломки он сразу же запускался. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы не понимать, что рано или поздно механизмы выйдут из строя, и это будет катастрофой для всего объединения. Однако и останавливаться было нель-

зя — планы наращивались от достигнутого, к этому времени они почти вплотную подошли к тем цифрам, которые совсем недавно огласил перед изумленным собранием Сафаров.

Получался замкнутый круг.

Сафаров собрал механиков. Они заседали полдня, рассмотрели все варианты, но иного выхода не нашли: надо останавливать поочередно агрегаты и заменять в них ответственные узлы. Иначе — беда!

— Только с моего ведома! — жестко сказал Сафаров. И не более, чем на два-три часа. В общем делайте что и как хотите, но чтобы они вращались. Вы меня поняли?

Механики поняли. Они уже знали, что Сафаров шутить не любит.

А он продолжал искать. Перечитал груды новейших технических журналов, съездил в командировку на родственные предприятия. Некоторые идеи были тут же подхвачены, в руках лучших механиков в кратчайшие сроки обрели, что называется, плоть и кровь, и о Сафарове вновь заговорили как о талантливом инженере и организаторе.

Решение пришло к нему неожиданно. Оно было простым и дерзким: ускорить обороты сушильных барабанов! И увеличить тем самым выход железного концентрата. И кроме того, останавливая часть оборудования для ремонта, освободившихся на это время рабочих использовать для других неотложных работ в цехе.

...Директор объединения, прочитав докладную Сафарова, немедленно созвал совещание. Приглашенные специалисты во мнениях разделились: старые, жизнью битые инженеры отвергли идею Сафарова с порога — скорость вращения технологически обоснована, ее увеличение чревато аварией. Вы представляете себе, говорили они, что произойдет с двухсоттонной трубой, если она сорвется от перегрузки? Кто может дать стопроцентную гарантию, что этого не случится? Нет, это авантюра чистой воды!

Сафаров попросил мелок и исписал длинными формулами всю доску. Расчеты были безукоризненными: равномерное и постепенное увеличение скорости возможно и технологии не противоречит. Конструкция выдержит ускорение при той же загрузке концентрата.

Что же касается высказанного здесь предположения о срыве барабана, то это вообще нереально; любой школьник, знакомый с элементарными основами механики, может это подтвердить.

Молодые инженеры, сидевшие тесной группкой в конце стола, дружно захлопали.

Директор сердито махнул им рукой — что еще за театр? Потом повернулся к доске, с минуту недоверчиво разглядывал четко выписанные Сафаровым формулы и крикнул:

— Да-а! Задал ты нам задачку! Что будем делать, а?

— Надо рисковать, Зуфар Фахретдинович, — сказал Сафаров, вытирая свежим носовым платком руки... — Иного пути увеличения производительности нет.

— А кто мне гарантии даст?

— Я! — заявил Сафаров. — Я гарантирую.

— А я против! — решительно заявил главный механик. — Даже при гарантиях Сафарова. Мне в тюрьму идти неохота.

— Да? — удивился генеральный директор. — Умный ты, оказывается! Тогда предложи что-нибудь получше. Не можешь? Ну, то-то!

Гумер на совещании не был и о том, что идея Сафарова обсуждалась, узнал поздно вечером, вернувшись из цеха в свой крохотный кабинетик — отгороженный тонкой фанерной перегородкой с застекленным верхом угол. Гумер устал, идти в общежитие не хотелось. Какая, собственно, разница, где спать? К грохоту машин давно привык, удобствами не избалован, а раскладушка ничуть не хуже старой железной кровати с продавленной панцирной сеткой. Да и телефон здесь рядом, если что...

Вытянув длинные ноги, он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. И в то же мгновение звякнул телефон. Гумер, чертыхнувшись, поднял трубку.

— Не знаешь? — спросил чей-то насмешливый голос, и он с трудом узнал в нем своего напарника по комнате в общежитии. — Сафаров-то снова на коне! Так что располагайся в цехе основательно. До конца года! Суши сухари, в общем, как любил говорить наш старшина.

— Он с ума сошел! — только и смог сказать Гумер.

— Не скажи! Я лично ему даже похлопал. Глаз у него ватерпас.

— А что главный механик?

— Он его математикой придавил. Ты бы видел, какие он формулы выкладывал. Все просто ошалели.

— А ты чего радуешься? — угрюмо спросил Гумер. — Не думаешь, чем все это кончится?

— Бо-ольшой премией — всем! — дурашливо протянул напарник. — И орденом Сафарову. Он уже дырку на пиджаке, думаю, просверлил... Завидуешь, да? Обижаешься?

— Пошел ты! — ругнулся Гумер и бросил трубку.

Нет, не завидовал он Сафарову. И обижаться ему не на что было: главный инженер весь последний месяц из цеха не вылезал, стоял над душой, во все мелочи вникал, и немало дельных советов от него услышали, корячась над очередной поломкой.

Однажды попросил увеличить обороты барабана. Гумер возразил, и они поссорились. Конечно, Сафаров на своем настоял — где молодому механику было тягаться с главным инженером фабрики, за которым и авторитет должности, и слава талантливого инженера.

Как же он тогда не догадался, что это не просто очередная блажь начальника, а проверка замысла? Простая, как валенок, мысль, а ведь не пришла ему, Гумеру, в голову, не пришла!

А вот почему не пришла — вопрос особый. Можно, конечно, сказать себе, что уступаешь ты по всем статьям Сафарову: и знаний у него поболее, и должность повыше, и опыт несравненно побогаче. Четыре года разницы как-никак. Но будет ли это полной правдой?

Не хотелось Гумеру признаваться в том, что он давно уже понял, ощущая исходящую от Сафарова тяжелую, неуступчивую энергию. Не заражающую, а, наоборот, ломающую что-то внутри тебя. Они были как две разнозаряженные частицы, которые и могли существовать самостоятельно лишь вне общего поля, поскольку их сближение означало бы не слияние, а поглощение одного другим: Гумера Сафаровым, а не наоборот!

В этом сомнений никаких не оставалось. Думать о себе так — удовольствие небольшое, и Гумер опять уклонился от окончательного приговора собственной персоне.

Он набрал номер квартирного телефона главного механика.

— Да? — голос был недовольный.

Гумер, извинившись за поздний звонок, прямо спросил, что тот думает об идее Сафарова и как мог согласиться с ней, зная ситуацию в сушильном цехе лучше, чем кто-либо из других руководителей фабрики.

— Умный ты... — сказал главный механик отрывисто и, как всегда, непонятно, то ли спрашивает он, то ли утверждает.

— Но... — начал Гумер. Однако главный механик тяжело подышал в трубку и перебил его:

— Ты — умный, а я старый. Мне через месяц на пенсию. Понял?

И положил трубку, не прощаясь.

Гумер покрутил головой и уставился на телефон. Вот это новости! Если уж такого человека сломали, значит, силен Сафаров, в самом деле — силен! Или загипнотизировал он всех? Неужели не понимают там, наверху, чем эта авантюра кончится? Неужто и вправду не видят, какую игру затеял главный инженер в погоне за славой? Додумать ему снова не дал телефонный звонок.

— Ты жив или мне заявить в милицию, что ты пропал без вести? — спросил игривый женский голос.

— Жив... — ответил Гумер резче, чем хотел.

— Ты там не влюбился в кого-нибудь? — засмеялась Зифа. — Когда был в последний раз в своем общежитии?

— Неделю назад.

— Ты не хочешь со мной разговаривать?

Зифа спросила, не меняя тона, но Гумер понял, что она обиделась.

— Извини, Зифа. Тут у нас заваруха такая. Устал. Но я рад, что ты позвонила.

— Ладно, замнем... Что ты делаешь сейчас?

— Сажу.

— Думаешь?

— Думаю.

— А о чем?

— Обо всем.

— И обо мне?

— И о тебе, — соврал Гумер.

Зифа засмеялась:

— Ты не умеешь врать.

— А как ты догадалась?

— Чувствую... Хочешь, я к тебе приеду?

— Хочу, но это невозможно.

— Почему?

— Потому что сейчас я пойду в цех и буду ремонтировать второй агрегат. Кстати, который час? Я уронил свои часы, и они встали.

— Половина двенадцатого... Слушай, Гумер, а зачем тебе все это надо?

— Что — все это?

— Ну, железки твои. Ночи в цехе. Грязь, пыль, непри-
ятности...

— Это моя работа.

— А жизнь — когда? Она же проходит, Гумер.

— Но вместе с нами, Зифа.

— Что вместе с нами?

— Жизнь, о которой ты говоришь.

— Я не о том...

— И я не о том.

— Вот видишь! — сказала она грустно и замолчала.

Он слушал ее тихое дыхание и не знал, о чем говорить дальше. Почему-то вдруг вспомнился холм, куда он часто забирался, отдыхая от работы и людей.

Оттуда хорошо проглядывались и фабрика, и город за ней — цепочка огней вдоль улиц, ярко освещенные окна домов... А над головой шумят листвою старые тополя — шепчутся друг с другом на неведомом языке, равнодушные к трудной, суетливой, беспокойной жизни людей, занятых своенравными железками. Что им, тополям, бездушные молохи, без которых уже не может существовать человек, платя жизнью своей за их прозорливое существование на земле?

— Гумер...

— Да?

— Я не плакала, не думай...

— Я знаю.

— Ты хоть бы соврал мне! — упрекнула Зифа. — Неужели так трудно?

— Нет, но я не хочу.

— Почему?

— Стоит только начать: потом не остановишься.

— А ты разве всегда говоришь правду?

— Я стараюсь не врать, — чуть подумав, уточнил Гумер. Он вспомнил, как вчера сорвался с катушек и наорал на главного механика, который ни в чем его не упрекнул, а просто стоял и хмурился рядом. Может, потому и наорал, что не смог ему в глаза смотреть из-за этой дурацкой аварии на втором агрегате. Главный механик выслушал его внимательно, как будто Гумер дельное что-то говорил, а не захлебывался яростными словами о запчастях и нехватящих слесарях. Потом главный механик позвонил на ремонтный завод и стал ругаться с кем-то, повторяя упреки Гумера, и уже было смешно и стыдно слышать их, потому что там, на ремонтном, работали такие же замотанные лю-

ди, и от них так же мало зависело что-то, как и от них, механиков. Когда уставал металл, он ломался, изнашивался механизм — он останавливался. Вот и все. Это не люди, которые и уставали, и изнашивались, и все равно должны были и не ломаться, и не останавливаться. И не валить свою вину на других...

* * *

...Согнувшись и пряча лицо от холодного, ледяного ветра, Гумер шел по улице. Ноги вязли в глубоком снегу, трудно было дышать, но что все по сравнению с болью и обидой, которые жгли сердце? Ни с чем не посчитались: ни с его бессонными ночами, ни с тем, что жизни не видел, друзей растерял, нервы ни к черту стали... Выбросили, как ненужную, отработавшую свое деталь. «Да пропади она пропадом, эта проклятая работа! — сказал себе Гумер. — В конце концов, что — свет клином здесь сошелся? Разве не может он работать инженером? Или слесарем? И жить простыми, земными радостями, как жили родители — на тихий лад, без суеты. Выпадал снег, они говорили: «Надо двор расчистить». Наступал сенокос, говорили: «Надо сено запастись». И жили себе, не тревожась по пустякам — летом готовясь к зиме, зимой — к лету. Какое, должно, счастье — быть уверенным в том, что ты сам кому-то нужен, и дело твое, хотя и не очень приметное, никто, кроме тебя, сделать не может, и в том интерес его и польза... Отец, наверное, сейчас расчищает снег во дворе, и нет для него дела важнее... Как он мне тогда на мой хитрый вопрос: «Для чего живет человек?» — ответил, ничуть не удивившись, словно только и ждал этого вопроса: «Родился, чтобы жить». Я тогда, конечно, ничего не понял, а вот теперь думаю — правильно сказал. Может, в том и вся главная правда жизни? Ведь люди почти один и тот же срок на земле проживают, ну, кто больше, кто меньше, тут уж кому как повезет. И нет среди них нужных и ненужных. И дел их — тоже. Если дело — значит, для чего-то или кого-то оно необходимо. У всех на этом свете свое место, у человека и его дела... Оказаться бы сейчас там, в деревне, в отчем доме. Отец, конечно, и вида не покажет, что рад: посмотрит из-под мохнатых бровей, кивнет головой — и все. Мама — та, нет, подойдет, обнимет и всплакнет. Это уж точно. Она в беде молчаливой становится, а от радости плачет... Давно не виделись, даже сердце щемит, так хочется побывать там, с отцом посидеть, с матерью пошептаться...»

А метель выла и выла, закручивая вокруг ног полы пальто...

В глухом лесном краю родился и вырос Гумер Хаби-ров. И казалось тогда, что жизнь везде такая же тихая и спокойная, как здесь, в небольшой деревушке.

Только теперь, спустя годы, понимал, что детство не было сплошь беззаботным и безмятежным. И здесь жизнь делала свою извечную работу, оставляя в душах людей крохотные зарубки, по которым, наверное, найдешь такой точнейший автомат, можно определить, когда и что именно происходило в той самой поре, которую принято называть золотой.

Ах, детство, отрочество! Годы, когда и малая радость ощущается счастьем и от ничтожных горестей подламываются коленки!

...Ни свет ни заря поднимались они с дедом, запрягали лошадь и обязательно останавливались за околицей, чтобы, накосив свежей травы, застелить ею дно телеги. С чем можно сравнить ее прохладный запах?

Дедушка любил и умел петь. Правда, песни у него были печальные и длинные. «Спой о Гумере», — просил Гумер, зная, что доставляет ему удовольствие.

Прокашлявшись и обтерев рот тыльной стороной ладони, дед долго смотрит перед собой, как бы вспоминая слова, и начинает тянуть на одной ноте вступительную мелодию — такую долгую и тонкую, что у Гумера невольно бегут мурашки по всему телу и щекогно становится в носу.

Но мелодия неожиданно обрывается, и чем длиннее пауза, тем значительнее звучат после нее слова о бедности и богатстве, о правде и кривде, о борьбе, в которую вступает народный герой Гумер за счастье простых людей, о смертельной схватке с баями на глухой лесной поляне...

Столько раз он слышал эту песню, что до сих пор и слова, и мелодия помнятся: разбуди кто и заставь спеть, спел бы, кабы голос дедушкин был. Но если что от него и взял, то, наверное, привычку мало спать и рано вставать, да еще любовь к старинным песням, которые сегодня даже в филармонии не исполняются — только здесь, в родных

местах, и услышишь. И то пока старики да старухи пелуньи живы. Мало их совсем осталось. Жаль, уйдут вместе с песнями, а в них ведь живая душа народа...

В последний свой приезд в деревню Гумер заглянул в клуб: гремел магнитофон, парни и девушки танцевали, как в городе, отдельно друг от друга, под Леонтьева и Пугачеву, а пол заляпан грязью с четырех дорог, которыми сходилась сюда, в клуб, молодежь из всех окрестных деревень... Постоял он тогда у стены, поглядел-послушал и ушел восвояси: и в городе всего этого хватало — та же музыка, те же танцы. Нет, не осуждал он никого: другое время — другие песни. И ничего поделать уже нельзя, да и надо ли? Новая жизнь перемалывала в своих жерновах старую деревню, только то ли жернова эти с большим припуском, то ли деревня слишком крепкий орешек: и музыка наисовременнейшая, и танцы на городской манер, и джинсы на парнях с западными нашлепками на крутых сельских задах, а дух в клубе — прежний, как и в пору его, Гумера, отрочества. Хотя, пожалуй, тогда почище здесь было: грязь с сапог у входа счищали старательнее. И комсомольские значки носили почти все — не стеснялись, как сейчас...

Тогда — теперь...

Странно, как разделилось время вдруг на два таких разных пласта, словно пролегла между ними еще одна, совсем другая, ему не принадлежащая жизнь.

Он говорил «тогда» — и перед глазами вставал какой-то другой мир — яркий, объемный, радостный, и видел он себя то мальчишкой на дребезжащей телеге в ворохе душистых трав, слушающим бесконечную песню деда, то подростком, вокруг которого враждебная толпа сверстников: еще бы, отказался вступить в комсомол вместе со всеми.

Подумаешь, чистенький какой! Возмутило его, видите ли, что хотят принимать и двоечников, и нарушителей дисциплины, и откровенных лентяев. А для чего тогда комсомол нужен? Вот примут и будут воспитывать.

Дорого обошелся ему тогда наивный бунт — не раз и не два пришлось потом объяснять, что, почему и как, немало выслушать упрекающих и обвиняющих слов от взрослых людей и обидных синяков и шишек от тех, кто, нацепив комсомольский значок раньше его, отличника, продолжал получать двойки и обманывать с прежней лихостью...

Он говорил «тогда!» — и вспоминал тихую, безветренную зиму, сугробы, похожие на огромные взбитые пуховые

подушки, и то, как они, группа участников районного смотра художественной самодеятельности, возвращались из города, где побывал в первый раз, сцену клуба, на которой он, запасной баянист, вдруг оказался в центре внимания — пришлось аккомпанировать всем, кто пел и танцевал... И ночную дорогу, по которой они возвращались веселой гурьбой, радостные от выпавшего на их долю успеха, снежинки на ресницах Зифы, ее тихий, ласковый смех...

Счастливые, беспечные, незабываемые времена...

Эта красивая капризная девушка поломала все его планы. Он и учиться поступил в медицинское училище из-за нее — только бы не расставаться, всегда быть рядом. Ему нравилось подчиняться ей, даже ревность ее отзывалась в сердце благодарностью.

— О чем вы говорили на перемене с Гульчачак? — спрашивала она, забавно хмурясь.

— Когда? — удивлялся он.

— Да на большой перемене! — сердилась Зифа.

— А-а... — тянул он, вспоминая. — Да ни о чем. Просто так.

— Не ври! — вспыхивала она, и в эту секунду была красива, как никогда. — Я же видела!

— Об учебных делах толковали. Понимаешь, ей математика плохо дается, вот и...

— Придумала специально, а ты и рад! — Зифа презрительно фыркала и уходила, гордо подняв голову.

Конечно, он догнал ее, и они помирились. Но однажды все-таки поссорились по-настоящему и недели две не встречались, выдерживая характер. Вернее, дулась она, а он в полном смятении ходил кругами возле ее общежития, не зная, как подойти, готовый ко всему, только бы кончилась скорее дурацкая размолвка. Но пришла повестка из райвоенкомата. На сборы дали три дня: забрать документы в училище, съездить в деревню попрощаться с родителями и — в путь-дорогу.

Конечно, он побежал к Зифе и столкнулся с ней в дверях — она уже знала и спешила к нему.

Три дня были вечностью, но пролетели, как один миг.

Потом началась разлука, и заспешили одно за другим письма. Только и они не сумели сберечь-охранить их любовь. Бессильными оказались и самые красивые, единственные, можно сказать, слова перед искусом жизни, рассыпались, словно и не было их никогда. В душе осталась лишь звенящая, ничем не восполняемая пустота.

Ах, первая любовь! Каждого живущего на земле посетила, каждому нашептала-наобещала, чего и на свете-то, наверное, и не бывает, поманила за собой, закрутила-завертела... и ушла неизвестно когда, неизвестно куда. И горьки, и сладки воспоминания о ней, лукавой обманщице и плутовке, подкарауливающей людские сердца на самой заре жизни.

Но кто из знающих уклонился бы от встречи, кто из обманутых не согласился бы обмануться еще раз?

...Письма от Зифы перестали приходиться за полгода до его демобилизации. Он терялся в догадках. Застревают на почте? Или кто-то зачем-то над ним зло шутит, перехватывая письма здесь, в части? Или она заболела?

Думалось о разном. Но мысли, что она полюбила другого, он даже не допускал. Такого не могло быть. Не могло, и все! Иначе мир должен был рухнуть: он просто не имел права существовать.

И когда наконец пришло письмо от товарища-сокурсника, он трижды перечитал короткую, как бы случайно залетевшую фразу: «Зифа вышла замуж за Сабира» — ничего не понял, сложил письмо и пошел зачем-то за казарму, где, отгороженные изгородью от остального леса, толпились старые елки. Какой еще Сабир? И что значит — вышла замуж? Чушь собачья! Никакого Сабира и рядом не было, так же не бывает, чтобы полтора года ждать, писать письма, а потом взять и выйти замуж за какого-то неведомого Сабира? А как же он? И зачем тогда все?

Он достал из кармана гимнастерки письмо и снова перечитал, шевеля губами как неграмотный, усилием воли пытаюсь сдержать дрожь во всем теле.

Это — конец. Она его обманула. Она надругалась над ним, над его любовью, над жизнью, над самым светлым, что есть и может быть.

Он разорвал письмо на мелкие кусочки и долго старательно втапывал каблуком жалкие обрывки в землю. А потом заплакал, давясь слезами.

Жить ему не хотелось.

...Гумера задержал ночью военный патруль на железнодорожном вокзале.

В комендатуре, куда его доставили еще с двумя самовольщиками, дежурный лейтенант оглядел Гумера с головы до ног: «Хорош гусь!» — и отправил на «губу», откуда на другой день он был препровожден в родную часть под гром и молнии собственного начальства.

Все эти дни прошли для него словно в тумане. Он плохо соображал, почти не разговаривал, часами ходил из угла в угол, когда оставался один, тупо выполнял назначенную в качестве наказания работу.

Как знать, чем бы аукнулась ему эта история, если бы попала она в холодные руки, если бы кто-то, особо не размышляющий, дал ей формальный ход! И разобрались, и поняли, и спустили, что называется, на тормозах. Но он вышел из нее опустошенным и озлобленным на весь белый свет.

О Зифе думал с ненавистью, и то, что раньше умиляло в ней, вызывало такие темные чувства, что он старался не вспоминать.

Только все в родной деревне напоминало о ней — и дом, где она жила, и улицы, по каким они ходили вместе, и дерево, под которым они когда-то впервые поцеловались, и старый клуб, где звучал ее голос, и люди, провожающие его взглядом.

И даже неразговорчивый отец обронил однажды несколько осуждающих слов о современных девушках, которые перестали чтить честь и достоинство.

Гумер с трудом удержался от резкости, но именно в это мгновение принял решение не возвращаться в Сибай, а уехать куда-нибудь подальше, чтобы с корнем вырвать из сердца опозоренную изменой любовь. Уже в поезде разговорился с попутчиком, ехавшим поступать в Магнитогорский политехнический институт.

— А что это такое? — спросил равнодушно.

— Говорят, инженеров готовят, — ответил парень уклончиво. — Мне лишь бы учиться недалеко от дома. Давай вместе, а?

Гумеру парень понравился, ехать было все равно куда, и он, не раздумывая особо, сошел на станции в Магнитогорске.

Раны затягиваются, боль забывается — все проходит, как говорил когда-то мудрый царь Соломон.

Годы побежали своей чередой, новая жизнь одаривала и радостями, и огорчениями, и в пестрой чересполосице дел и забот отошла постоянная, как зубная боль, тоска по прошлому, отошла-отпустила, но не забылась.

В снах лицо Зифы виделось смутно, словно сквозь затуманенное стекло, а руки — помнили, а губы — тоже, и он просыпался разбуженный неровно бьющимся сердцем. Он обманывал себя — не уходила и не ушла любовь ни-

куда, спряталась-затаилась; не смея тревожить днем, она напоминала о себе ночами, когда человек во сне бессилён и беспомощен.

«А смог бы я простить и начать все сначала?» — спрашивал он себя иногда, и отвечал непримиримо разум: «Нет, не смог бы», но шептало сердце: «Да, да, да!»

И не раз плакал постыдно во сне и просыпался от этих горьких и злых слез.

В минуты такого душевного разлада он ненавидел себя больше, чем ее, клял тот день и час, когда встретился с Зифой, безоглядно и, видимо, навсегда отдав ей свое сердце. Что из того, что появлялись в его жизни другие девушки: ни одна не задела, не зацепила; встречался, как исполнял какую-то повинность, откровенно скучал, нагоняя хмурым лицом тоску на других, а расставаясь, с тайным, болезненно-сладостным страхом ждал сна, в котором вновь возникнет смутный, размытый образ Зифы — прокливаемой и любимой, единственной и чужой, близкой и недоступной...

Если бы можно вызвать ее из сна, если бы только было возможно!

Накликал, должно, или вымолил — кто скажет? — но однажды столкнулся с ней на улице. Лицом к лицу.

Она была такой же, какой являлась к нему во сне все долгие и горькие годы. Восемь лет. Почти три тысячи дней и ночей. Сто восемьдесят тысяч минут.

Жизнь остановилась на мгновение.

— Ну, здравствуй, — сказала Зифа, и голос ее дрогнул.

— Здравствуй, — ответил он, чувствуя, как деревенеет лицо, язык, руки.

— Как ты здесь? — спросила она.

— Я здесь живу, — ответил он, ничего не соображая. — А ты?

— И я здесь живу, — улынулась Зифа.

Значит, ходили по этим улицам и не подозревали, как близко были друг от друга.

— Ты возмужал, похудел. Я тебя не сразу признала, — отважно соврала она, потому что узнала сразу.

— А ты мало изменилась, — тоже соврал он: она была лучше, чем мог себе представить.

— Ну, что ты! — отмахнулась она обрадованно. — Я очень изменилась.

Они стояли посреди тротуара, и люди обтекали их с двух сторон, сердито ворча. Но они их просто не замечали.

— У вас нет лишнего билетика? — спросил какой-то парень.

— Нет, — сказала Зифа.

— А почему он спрашивает? — удивился Гумер. — Какой билет? Куда?

Она засмеялась и показала на афишу в полдома, возле которого они стояли.

— Не видел?

— Нет.

— Хочешь посмотреть? Мы собрались с подругой, но она не смогла. И у меня есть лишний билетик.

Он покачал головой.

— Почему?

— Не знаю. А почему с подругой?

— Потому что мы с ней всегда ходим вместе в кино, — снова засмеялась она.

— Ты живешь одна? — наконец догадался он.

— Почему — одна? У меня есть дочь. Но сейчас она в деревне.

— А-а, — протянул он, пытаясь проглотить комок в горле.

— Ну, я пошла? — сказала Зифа вопросительно.

Он кивнул и пошел вместе с ней.

В зале было много людей, но ему казалось, что они одни. Полтора часа сидел, прикрыв глаза, чтобы не видеть экрана.

Правой рукой, лежащей на поручне кресла, он касался руки Зифы. Боже, какая теплая и мягкая была ее рука, которую ощущал даже сквозь плотную материю пиджака, и боялся пошевелинуться, чтобы не потревожить эту замечательную руку. Но думал о другом, и хорошо, что, охраняя покой руки Зифы, настороженно лежащей рядом, ему удалось привести в порядок мысли. Значит, она одна. Нет, не одна, у нее есть дочь. И подруга, но подруга тут, конечно, ни при чем. С подругой она ходит в кино. Всегда. Ходят с подругой в кино одинокие женщины. Он где-то читал об этом. Но, может, ее муж куда-то уехал? Может, он капитан дальнего плавания. Или геолог. Или — жулик, и его посадили в тюрьму. Надо было, конечно, спросить. Чудак, кто же об этом спрашивает?

— А где твой муж? — спросил он, наклонившись к Зифе и почти коснувшись губами ее уха.

— Мы не живем с ним, — так же тихо ответила она, словно ждала этого вопроса.

Он хотел узнать почему — но сзади зашикали: на экране кто-то кого-то хотел убить, и в зале требовалась полная тишина.

Гумер снова замер в своем кресле, чтобы взять под охрану замечательно теплую и мягкую руку Зифы...

Из кино они шли молча, потому что говорить было не о чем. Зифа жила недалеко, в пятиэтажном панельном доме.

— Вон мое окно, — показала она угловое окно второго этажа.

Оно было темное.

— До свидания, Гумер, — сказала она. — Я рада была тебя встретить.

— До свидания, Зифа, — сказал он, но ничего не добавил.

И она ушла, помахав ему на прощание рукой. Той самой, которую он охранял целых полтора часа.

А он постоял еще, дожидаясь, когда зажжется свет в угловом окне на втором этаже.

Свет зажегся быстро, и он был желтый.

«Светят окна в ночи!» — сказал он вслух и пожалел, что никогда не писал стихов: Если б у него был такой талант, сегодня он бы сочинил стихотворение, которое начиналось этими словами.

Домой идти ему не хотелось, и он долго бродил по темным, безлюдным улицам, поглядывая на окна. Странно, больше нигде желтых не было. И тогда он поверил в том, что все будет хорошо. Вот только сердце билось спокойно и сильно, словно он собирался бежать стометровку, а не радовался тому, что жизнь возвращала ему любовь.

Гумер посмотрел на свою руку, которой касался руки Зифы, и попытался вызвать в памяти ее образ. Той, что снилась ему, уже не было. Явилась другая, сегодняшняя: красивая, молчаливая, улыбающаяся, и он опять ничего не почувствовал.

Он даже не заметил, как подошел к общежитию, как долго стучал в дверь, пока ее не открыла заспанная и сердитая дежурная, не слышал, что она выговаривала... Ему было грустно и одиноко, потому что, найдя, он снова потерял. И теперь не знал, как дальше жить.

— Ты чего? — поднял голову сосед, когда он зажег лампочку без абажура. — Пьяный, что ли?

— Нет, — сказал Гумер. — Я встречался с прошлым.

— Ну и как? — зевнул сосед. — Очень интересно?

Гумер неожиданно начал рассказывать о Зифе.

Он смотрел в окно и рассказывал, выскивая в памяти разные мелкие подробности. И чем больше вспоминал, тем обиднее ему становилось, тем сильнее жалел себя. Сейчас, в рассказе, вся история выглядела и смешнее, и банальнее, словно не было уже красивой девушки Зифы, рядом с которой он каждый раз терялся, очарованный и замороженный ее таинственной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом, чуть замедленными движениями рук. Была другая — сильная, уверенная в себе молодая женщина, оставившая в дураках неизвестного ему Сабира, а сначала надругавшаяся над его, Гумера, любовью...

Когда он повернулся к соседу, тот спал с широко открытым ртом и тихо посапывал носом.

* * *

Утром Гумера, невыспавшегося, злого, поджидало чепе у склада запасных частей, куда через порог начала протекать вода: дождь лил всю ночь, и во дворе образовались гигантские лужи с длинными языками ручьев. Один из них пробил дорожку в склад. Пока спохватились, собрали людей, нашли инструменты, вода залила бетонный пол по щиколотку. Гумер первым делом взялся за запасные детали — они были на вес золота.

— Давай лом! — крикнул он молодому рабочему, топтавшемуся у входа. — Чего стоишь как столб?

Рабочий побежал за ломом, а он, надсаживаясь, попытался перевернуть громоздкий ящик, но едва шевельнул его. В проеме дверей показался комсорг фабрики Ирек; Гумер махнул рукой, и тот, поколебавшись, шагнул в воду. Вдвоем они сдвинули ящик на сухое место. Потом взялись за второй, третий — и так до ряби в глазах.

Рабочий, посланный за ломом, не появился.

— Вот чертяка! — ругнулся Гумер, вспомнив о нем, когда все уже было закончено. — Небось твой воспитанник. Ножки побоялся замочить.

— А чего же ему их мочить? — философски заметил Ирек, выливая из ботинка воду. — Вот кабы вы тут не завали, ничего бы и не было.

— Да? — огрызнулся Гумер. — Твоими бы устами да мед пить.

— А что, неверно говорю? Как дождь посильней, так у вас в сушильном то сверху течет, то снизу подтекает. Не надоело?

— Вот и возьмите со своими комсомольцами шефство над нами, отстающими! — сказал Гумер, остывая. Чего, в самом деле, прицепился к комсоргу, он-то тут при чем? И парня того, наверное, перехватили вместе с ломом — там, наверху, тоже дел хватало. Но с Иреком у него были сложные отношения, и хотя помогал тот, вон и воды набрал в свои шикарные штиблеты, все равно добрых чувств к нему не испытывал.

Был комсорг говорлив и заносчив, до черновой работы неохоч, но как-то сумел держаться на плаву и даже считаться хорошим комсомольским работником. Поговаривали, что собираются забрать его в горком вслед за предшественником, место которого он занял два года назад.

— Надо идти домой переодеться, — озабоченно проговорил Ирек. — Штаны и носки мокрые...

— А ты почихай! — предложил Гумер. — Бюллетень получишь...

— Слушай, чего ты ко мне цепляешься? — спросил Ирек. — Я тебя не трогаю, в дела твои не лезу, а ты все норовишь меня укусить. Вот и начальник цеха, едва рот открыл, к тебе послал: и его, видать, кусаешь?

Он старался говорить спокойно, добродушно даже, но голос выдавал накипавшее раздражение.

— Кусая, — согласился Гумер. — Потому что, если вас не кусать, вы на работе скоро спать начнете... Чего приходил-то?

— Велено создавать комсомольско-молодежные бригады. Решили с вас начать.

— Велено? — удивился Гумер. — Кем велено?

— Горкомом, кем же еще!

— А им-то зачем?

— Как зачем? Есть такая форма работы, не слышал, что ли? Очень эффективная, если, конечно, с умом организовать.

— А если без ума? Вот, например, как ты собираешься?

— Не спеши, Гумер, не спеши, — миролюбиво заметил Ирек. — Будет организовано как надо. У тебя десять комсомольцев...

— Я не могу организовать из них бригаду, — прервал комсорга Гумер.

— Почему?

— Разряды у них низкие.

— Ну и что?

— А то, что будет это сплошная фикция. Липа то есть. Да и объединять их нерационально.

— Надо сначала объединить, а там видно будет... В конце концов с тебя не убудет, делу же наверняка поможет. Чего ты сопротивляешься, не пойму? Как работал, так и будешь работать.

— Ты с ребятами говорил?

— А как же! Комсорг ваш готов выступить с инициативой. Только и она на тебя кивает. Ну как, договорились?

— Нет, — сказал Гумер. — Не договорились. Не вижу смысла.

— Смотри, Гумер! — В голосе комсорга послышалась угроза. — Мы ведь можем и прижать... И повыше тебя есть начальство.

— Пугаешь?

— Не пугаю, а предупреждаю. Пока ты в комсомоле, комсомольская дисциплина и на тебя распространяется... Можно ведь и билет на стол положить...

Гумер только усмехнулся в ответ.

— Не веришь?

— Почему же? Очень уж знакомые интонации слышу. Не у Сафарова ли научился? Только вот что я тебе скажу, дорогой наш комсомольский вожак! Уходи ты со своей работы, с поста своего высокого. Сам уходи, а то ведь выгнать с треском. Вредна она для тебя, и ты ей вредишь. Уходи!

— Не к тебе ли? — осклабился Ирек.

— А я тебя и не возьму. У нас тут своих бездельников хватает.

— Ты этот наш разговор не раз еще вспомнишь, — сказал Ирек через паузу.

— Хорошо, — согласился Гумер. — Но и ты мои слова помни.

Ничто, казалось, еще минут десять назад не предвещало ссоры, которая развела их окончательно в разные стороны. Но они шли к ней неизбежно, уже давно разделенные отношением к жизни, комсомолу, к делу, которое от одного требовало полного напряжения сил, а для другого было всего лишь удобной формой комфортабельного существования. Они столкнулись в первые же дни работы Гумера на фабрике, но тогда Ирек только-только входил во вкус своего относительно независимого положения, свободного режима, дающего ему возможность делать то, что считал в данный момент необходимым.

Был он неглуп, легко сходился с людьми, не терялся, когда разговаривал с начальством, умел подать сделанное в лучшем свете, и эти качества помогли ему выдвинуться по комсомольской линии, занять не крупное в общем-то, но перспективное кресло — по собственному, как он шутил, желанию. С молодыми специалистами он старался не ссориться, понимая, что знаниями тягаться с ними не может, да и предложить им что-либо в качестве компенсации за лояльность к себе пока было нечего. Предшественник Ирека, хотя и ушел в горьком, оставил хозяйство хуже некуда: в бумагах сплошное вранье, чего ни коснись: спорта ли, художественной самодеятельности или «комсомольского прожектора». Собрания и те проводились нерегулярно, была полная неразбериха с учетом — в списках значилось несколько десятков молодых людей, которых давно уже никто не видел: кто уехал, кто выбыл по возрасту, кто был призван в армию. Человек энергичный, Ирек с этим разобрался, кое-какой порядок навел — выбывших без снятия с учета всех разом открепил (зачем он нужен, балласт?), договорился с отделом кадров, что ни одного комсомольца без подписи его в «бегунке» увольнять не будут, а вновь приходящих обязательно направлять в комитет комсомола. Так Гумер и попал в крохотный кабинет Ирека, где они с первых же слов почувствовали, что мирно им не жить.

То ли биополя оказались разными, то ли взаимная настороженность помешала, но как бы там ни было, разговор у них получился и долгий, и нервный и во многом определил их дальнейшие отношения.

— Что поздно так в комсомол вступил? — спросил Ирек, привычно переходя на «ты».

Гумер сразу окрысился: не в первый раз ему задавали этот вопрос, словно он и вправду перед кем-то виноват:

— Что значит — «поздно»?

— Поздно — значит, не как все, — назидательно пояснил Ирек и ткнул пальцем в листок. — Вот тут сам пишешь, вступил в институте.

— А это что — криминал?

— Не криминал, но все-таки...

— Считаю, что это личное дело каждого.

Рассказывать, как и что было, Гумер не захотел: в конце концов каждый сам решает, готов он вступать или не готов, хочет или не хочет. Но Ирека покорила агрессивность молодого инженера: едва перешагнув порог, а уже норы показывает!

— Трудно тебе у нас будет, — сказал он многозначительно.

— Это почему же?

— С таким отношением к комсомолу.

— А что ты знаешь о моем к нему отношении? — Гумер тоже соскользнул на «ты», даже не заметив этого.

— И знать не надо! Чувствую, без уважения относишься.

В общем, заклинило их на этой теме, и, как обычно в таких случаях, не столько понять друг друга хотели, сколько мерились характерами, пока Гумер решительно не поставил точку:

— Больше ко мне вопросов нет? — И встал.

— Пока нет, — ответил Ирек сквозь зубы. — Поработаем — появятся. И тогда я их задам.

— Ну, если появятся... — кивнул Гумер.

Полгода они практически не встречались — в отделе главного механика, кроме Гумера, комсомольцев больше не было, а вот в цехе, где работала одна молодежь, им пришлось говорить, и не раз, и не два — наедине и на собраниях.

Ирек за полгода поднаторел в выступлениях, стал гибче и ловчее — сказывалась школа Сафарова, которым он, в самом деле, восхищался. Тут Гумер по всем статьям проигрывал — мешала уверенность в том, что, если ты откровенен и прям, тебя кто угодно поймет — и друг, и недоброжелатель. Друзья, действительно, понимали, а недруги успешно пользовались открытостью Гумера, ловко подставляя его. Восстал, к примеру, против того, что средства от сданного цехом металлолома записывали на комсомольский счет фабрики.

Думал, против иждивенческой позиции Ирека выступает, а оказалось — против генерального директора объединения и горкома комсомола, которые где-то когда-то любовно договорились.

Выступил против отвлечения рабочих на различные соревнования, репетиции и другие общественные мероприятия и вызвал всеобщее недовольство, потому что в выходные дни и после работы мало кто хотел защищать честь (или что там еще?) фабрики. И пришлось ему самому драть глотку и ссориться с людьми, обеспечивая их явку.

Схватился и с Иреком, который лучшего его слесаря, на свою беду умеющего рисовать, выговорил у начальства на месяц для оформления клуба, а пострадал сам: ему и

поручили этим делом заняться в свободное от работы время. Пришлось того же слесаря просить-уговаривать и чуть ли не за руку водить в клуб по воскресеньям.

Словом, каждый его протест со вниманием выслушивался, меры принимались, но другим концом, что называется, непременно стучало по его, Гумера, голове.

Другой бы, может, задумался наконец — сколько же надо учить уму-разуму? — так, наверное, и считал хитрым комсорг, хладнокровно расставляя ловушки на дороге у своего противника и терпеливо дожидаясь, когда тот, по крайней мере, перестанет лезть не в свои дела. Но Гумер упрямо гнул свою линию, и скоро Ирек убедился, что и у прямой тактики есть преимущества.

Но это произошло много позднее, а пока Гумеру предстояло еще разобраться с другой историей, которая странным образом соединила два полюса его жизни: возникшую словно бы из небытия Зифу и этого верткого, хитрого демагога Ирека, за спиной которого маячила зловещая тень Сафарова.

* * *

...Зифа не выходила из головы Гумера. Клянясь не думать о ней, он и думал, и мучился то тоской, то ревностью, то, взбудораженный нарисованными в воображении картинками ее давней измены, издевался над собой.

Но это было ничто в сравнении с тем, от чего он пытался удержать себя всеми силами: его тянуло на ту улицу, к тому дому, где он однажды увидел вспыхнувшее желтым светом окно! Гумер уже не раз побывал там во сне, как бы проверил самые разные варианты будущей встречи.

По одному выходило, что его не ждали, да и Зифа представилась в образе дежурной в общежитии — крикливой, шумной женщины с необъятным торсом. По другому — никак не мог найти дома и путался в бесконечном лабиринте улиц.

Однажды увидел себя бегущим по крутой лестнице, которая уходила куда-то в небо и там обрывалась на невозможной высоте, и Зифу в черном платье с безжизненно опущенными руками уносил кто-то или некто неразличимый и страшный еще выше — туда, где не было ни лестницы, ни неба... После этого сна Гумер долго не мог прийти в себя и, дав слово забыть о ней навсегда, на другой день же оказался у ее дома.

Окно на втором этаже желто светилось в ночи.

Гумер быстро вошел в подъезд, бегом поднялся по лестнице и нажал на кнопку звонка. Теперь уже поздно что-то делать — ключ в замке шелкнул, и он едва не ослеп от брызнувшего в лицо света.

— Ты?! — Зифа испуганно отступила от порога.

Он молча протянул к ней руки, ткнулся лицом в ее шелковистые пахучие волосы...

Потом она говорила ему, что он стоял так долго.

Он не помнил.

Он помнил только то, как открылась дверь.

Наверное, потому, что это было главное.

И еще, возможно, потому, что это не принесло им счастья.

Он приходил сюда, когда ему было плохо. Так же бесшумно и стремительно открывалась дверь, яркий свет ударял в лицо... Он жмурился, на мгновение замерев на пороге, и молча проходил в комнату, в чужое, ставшее таким привычным тепло, и мучительно искал слова, чтобы разрушить, развеять, уничтожить поселившуюся здесь тревожную тишину. И еще он избегал встречаться глазами со страдающими, виноватыми, молящими глазами Зифы, каждый раз боясь сорваться и высказать ей все, что виделось за ее покорностью. Она это тоже чувствовала и тоже старалась обходиться без слов. Даже близость не приносила им облегчения: он долго не мог заснуть, вслушиваясь в ее тихое дыхание, и глушил в себе обиду, которая накатывалась в эти минуты с особой силой — и за себя, и за нее, и за все, что могло быть и не случилось. И тогда она уже не казалась ни красивой, ни доброй, ни нужной — никакой. Просто рядом лежала женщина, как могла бы лежать другая, если без нее никак уж нельзя обойтись, и вот сейчас он встанет, оденется и уйдет, и забудет, что было.

Зифа тоже не спала, все понимая и давясь невыливающимися слезами, опустошенная и раздавленная своим горьким счастьем, за которое она уже заплатила многим, и готова была платить дальше, только бы он не ушел.

Только бы не ушел, говорила она себе каждый раз, когда он уходил, исчезая порой на две-три недели. Только бы он не ушел, молила она, когда он приходил, молчаливый и неласковый, но требовательный к ласкам, словно в ее испугленной, безоглядной отдаче и искал ответа на терзающие его вопросы.

— Ты меня любишь? — спрашивала она в первые дни.

— Да, — отвечал он таким безжизненным голосом, что у нее перехватывало дыхание.

— Ты меня не любишь, — говорила она спустя день или два, больше утверждая, чем спрашивая, и знала почти наверняка, что он или промолчит, или скажет двусмысленное «нет».

— Нет, — произносил он после недолгого молчания.

— Что — нет? — подбиралась она к нему с другой стороны.

Он пожимал плечами.

Она пыталась рассказать о прежней жизни, как-то объяснить тогдашний свой шаг. Одна встреча, случайная в общем-то, — и гуман, ослепление, безумие. Обо всем забыла, от всего отказалась. И такое же пробуждение — открыла словно глаза и увидела вокруг себя пустыню. Выжженную. Черную... Имени Сабира не упоминала, да Гумер и не интересовался. Слушал, смотря в сторону, и молчал.

Иногда она взрывалась, все нутро ее бунтовало против этого одиночества вдвоем, и она становилась прежней Зифой — гордой, сильной, независимой. И тогда она говорила: «Уходи! Навсегда!» — и он уходил навсегда, чтобы вернуться через несколько дней. Открывалась дверь, и все начиналось сначала...

* * *

...Когда Гумер поднял голову и разжал залепленные снегом глаза, он понял, что заблудился. Кругом была только метель — темное, колющее, шелестящее снежное варево. Ни огонька — ни впереди, ни сзади. Ноги уже отказывались идти.

Он постоял несколько мгновений растерянно, не зная, что делать, и шагнул, куда толкнул его порыв ветра.

Скоро он различил в отдалении какой-то темный силуэт и направился к нему.

Это был стог.

Он обошел его со всех сторон, нашел у самого подножья удобную ложбинку и лег в нее. Потом стал зарываться глубже.

Как же он замерз и как устал!

Сено пахло летом и солнцем, а где-то совсем близко метель, упустившая его, неистово кружилась вокруг стога, пытаясь дотянуться до Гумера шершавым языком...

— Ямиля! — голос Гумера, усиленный многократно, гремит по всему цеху.

Худенькая девушка в большой каске, сваливающейся на лоб, испуганно бежит к переговорному пульта и снимает трубку:

— Я тут. Что случилось?

— Это я у вас, сменный мастер, хочу спросить, что случилось? — рычит Гумер, забыв переключиться на телефон, и динамик пробивает рычанием грохот барабанов. — Останови немедленно первый агрегат. Ты слышишь?

— Зачем? — спрашивает Ямиля и оглядывается на рабочих, которые тоже с недоумением смотрят на нее. — Зачем выключать?

— Ты оглохла, да? Он же сейчас развалится к чертовой матери! Я отсюда слышу, как он дребезжит.

— Это тебе кажется, Гумер, — говорит она.

— Сейчас я приду!

Динамик яростно шипит, словно на горячую сковородку плеснули воды.

Ямиля поправляет волосы под каской и ждет.

— Ну? — грозно спрашивает Гумер, появляясь вскоре перед ней. — Не слышишь?

— Не слышу! — возражает Ямиля. — Он и вчера так дребезжал. И позавчера. И месяц назад. Тебе показалось, Гумер.

Он подходит к агрегату, слушает, наклонив голову, потом поворачивается к Ямиле.

— Все равно надо останавливать и смотреть.

— Сейчас у меня некому смотреть... — говорит она и добавляет: — Тебе надо отдохнуть...

— А какое тебе дело до того? — обрывает ее Гумер, не желая, чтобы его жалели.

— Тогда не будет ничего казаться, и ты не будешь разговаривать со мной грубо, — поясняет Ямиля, нисколько не обижаясь.

Она давно уже работает в цехе и устает не меньше, а может быть, и больше других: все-таки не женская эта работа — возиться с тяжелыми машинами! Но Гумера понимает и по-бабьи его жалеет. И все прощает, даже грубость. Неприютный он какой-то, хмурый всегда, а характер горячий, неудержимый просто. С Сафаровым ругается, с Иреком отношения испортил окончательно, директор фабрики

тоже его недолюбливает. И все из-за машин. Вернее, из-за того, что они постоянно ломаются. Была бы ее воля, она закрыла бы цех на полгода и заменила эти древние агрегаты, чтобы только люди не мучились. Не рвали друг другу нервы. А то не работа, а настоящая каторга.

Вообще-то для нее многое здесь сложно — и сама работа, и люди, и споры вокруг технических проблем, и невязки разные, за которыми она ничего, кроме привычной бестолковщины, не видела. Говорил Сафаров — слушала с открытым ртом, удивляясь и эрудиции его, и масштабности мышления, и умению подмечать такие мелочи, о которых она и представления не имела, хотя только и делала, что увязала в них. Говорил Гумер, и Ямиля так же искренне принимала его сторону и смотрела на Сафарова уже иными глазами.

С Иреком было проще. Она его сразу раскусила — мелкий человечек, ничем, кроме собственной карьеры, не интересующийся. Знала она о нем и еще кое-что — среди девушек и женщин фабрики ходил неприличный слушок — но держала при себе, считая ниже своего достоинства опускаться до сплетен. А ведь поговаривали и о том, что метит Ирек на пост главного инженера фабрики, если Сафарова двинут дальше. И если это правда, то понятно, почему они объединились в своем неприятии Гумера, характер у которого и впрямь не золотой, но он честнее и лучше их, вместе взятых.

Она боялась признаться самой себе, что Гумер ей просто нравится, и в любом случае, даже если бы Сафаров с Иреком оказались кругом правы, она была бы на его стороне... Интересно, а что он о ней думает? Вот ведь накричал на нее ни за что ни про что и не знает, наверное, как теперь из этого положения выйти. Глупый, рассмеялся бы, и все! Неужели не понимает, что девушкам надо чаще улыбаться?

Но Гумер, досадуя на себя за эту дурацкую выходку, кивает Ямиле и уходит назад в свою кабину. Она, конечно, права — незачем пороть горячку, видно, ему и вправду померещилось... Пора, пора отдыхать, а то кидаться начал на всех. Вот и Ямиля под горячую руку подвернулась... Хорошая девчонка, есть в ней что-то такое... как бы это сказать? Ну, надежность, что ли, несуетливость... Каска смешная — как ведро на голове сидит! А волосы красивые, да и вообще она ничего, как ни смотри...

Затрещал телефон, он поднял трубку, узнал голос Са-

фарова, и Ямиля тотчас же вылетела из головы вместе со своей каской и красивыми волосами. Но вечером он столкнулся с ней в проходной, и они пошли по улице вместе.

Впервые он увидел ее не в комбинезоне, а в светлом, модном плаще с ярким шарфом поверх воротника.

Волосы, аккуратно причесанные, очень шли к ее молодому, свежему лицу. Он же был в своей старенькой, изрядно изношенной курточке, в мятых брюках и в давно нечищенных ботинках.

— Ничего, что я рядом такой? — спросил насмешливо.

Она взглянула на него удивленно, но сразу поняла, что он имеет в виду, и засмеялась:

— Вам, мужчинам, можно.

— Давно в зеркало себя не видел, — сказал он, проводя рукой по подбородку.

Она снова посмотрела, смешно наклоняя голову из стороны в сторону, и успокоила:

— Вроде нормально...

И обмолвились, казалось бы, ничего не значащими фразами, а словно ближе друг другу стали. И уже расставаться просто так не хотелось.

— Может, зайдём? — Гумер кивнул на двери ресторана, мимо которого они проходили.

— Туда? Мы? — удивилась Ямиля.

— А что? Разве мы не заслужили с тобой ужина?

Еще минуту назад и не думавший ни о каком ресторане и тем более ужине с девушкой наедине, теперь он уговаривал Ямилю и был бы огорчен, если бы она отказалась.

— Только не надолго, ладно?

К счастью, им повезло: день был будничный, очереди не было и их хорошо посадили — недалеко от небольшой эстрады, где бородатый парень возился с микрофоном...

. : : : !
— Знаешь, когда я сюда приехала, думала, умру от тоски, — говорила Ямиля, морщась от громкой музыки. — Я ведь выросла в большом городе и никуда из него не выезжала. Даже в деревне не была. А тут и городишко крохотный, и люди незнакомые... В общежитие я не пошла — не люблю общежитий! Круглые сутки на людях — бр-р! Живу у одной старушки, почти в самом центре. Она хотя и ворчливая, а добрая. Мы с ней хорошо живем.

— А замуж почему не выходишь? — спросил Гумер, думая о своем.

— Замуж? — переспросила она и взглянула на него внимательно. — Просто так не хотела, а... В общем, не получилось. Правда, сейчас сватается — смешное слово, да? — один человек ко мне... Цветы приносит, говорит, что любит, жить без меня не может. Только думаю, ничего у нас не получится.

— Почему?

— Не люблю я его — потому.

— Принца, наверное, ждешь? — усмехнулся Гумер, вдруг вспомнив Зифу. Голос у него, наверное, изменился, и Ямиля тут же это почувствовала.

— Ну, какого уж там принца в мои-то годы! — неловко пошутила она и, чтобы скрыть эту неловкость, засмеялась: — Мне теперь и разведенный какой сойдет. Хотя, конечно, можно и так... — Произнесла и смутилась: — Можно не выходить замуж совсем.

— Я понял, — сказал Гумер, и внимания не обративший на ее поправку. — Только одному трудно. Нельзя человеку одному.

— А ты почему всегда один? Даже в цехе ночуешь.

— Я не один, — сказал Гумер, продолжая думать о Зифе и уже жалея, что пошел в ресторан. Сегодня ему надо было быть у нее. Именно сегодня она его ждала. И еще ждет. И будет ждать, пока он не придет.

Они помолчали. Маленький оркестрик вновь заиграл, заглушая все остальные звуки. Бородач терзал в руках гитару, держа ее на уровне бедер. Ладонь у гитариста была большая и широкая, как лопата.

Ямиля подняла глаза на Гумера.

— За что ты не любишь Сафарова?

— Тебе надо это обязательно знать?

— Да.

— Зачем?

— Затем, что я хочу тебе помочь.

— А ты мне уже помогаешь, — сказал Гумер.

— Чем? — удивилась Ямиля.

— Тем, что ты есть. И вообще, и в цехе.

Ямиля опустила голову, чтобы скрыть мгновенно зардевшееся лицо.

— Знаешь, ты хорошая девушка, — добавил Гумер и незаметно посмотрел на часы: девять часов. Если сейчас они уйдут, через полчаса он будет у Зифы.

— Ты торопишься? — спросила Ямиля.

— Да.

— Но ты не ответил на мой вопрос.

— О Сафарове?

— Конечно.

— Я его не люблю. Это не то слово. Такой человек, если ему дать большую власть, может принести много зла... Подобное у нас уже было.

— Сафаров?

— Да, Сафаров. О таких людях мой отец говорил: у них нет в душе бога. Отец мой — неверующий, не думай. Он имел в виду другое. Эти люди могут переступить через все. И через человека — тоже. Ради сиюминутной выгоды. Ради карьеры. Ради себя. Понимаешь?

— Я думаю, ты преувеличиваешь, — мягко возразила Ямиля. — Я ведь тоже знаю Сафарова.

— Ты смотришь на него как женщина.

— Нет, я не смотрю так! Он — инженер. Он умнее многих из тех, кого я знаю. И он умеет работать. Ирек мне кажется куда опаснее...

— Нет, он — глупее и примитивнее. И потому не опаснее. Но именно такие нужны Сафаровым. Ты правильно объединила их вместе: иреков производят сафаровы, а те расчищают им дорогу. Они так научились врать, что им почти всегда верят. Сафарову будут верить даже тогда, когда он развалит завод.

— Господи! — воскликнула Ямиля. — Он такой маленький, такой рыженький, такой смешной, а ты рассказываешь о нем, как о каком-то ужасном злодее. Чего он может, твой Сафаров? Какая у него власть, даже смешно!

— Маленькие становятся большими. И тогда их уже не остановишь.

— Ты хочешь его остановить?

— Конечно.

— Один?

— Почему — один? Если бы я был один, они бы меня давно убрали.

— Как убрали?

— Ну, уволили бы. Я им мешаю. И ты — тоже.

— Я? Как я могу им мешать? Я просто работаю.

— А тем, что не с ними. И просто работаешь.

— Ты меня совсем запутал, Гумер!

— Ничего, разберешься, — успокоил он. — Ты же умная.

— Нам пора?

— Да.

Они дождались официанта, и Гумер рассчитался с ним,

Официант, брезгливо оттопырив нижнюю губу, сунул деньги в карман.

— А сдачу? — спросил Гумер.

— Какую сдачу?

— Пересчитайте еще раз.

Официант, усмехаясь, вынул смятую рублевку и положил на стол.

— Бедный, да?

— Ага, бедный! — сказал Гумер, глядя ему прямо в лицо. — А ты хам.

— Но-но! — протянул официант угрожающе и чуть отодвинулся назад.

Гумер пропустил вперед Ямилю и пошел следом.

— А если бы он полез драться? — спросила она на улице.

— Зачем? — пожал плечами Гумер. — Ему надо было меня унижить. И больше ничего.

— И ты ответил тем же?

— Хаму надо говорить, что он хам.

— Всегда?

— Всегда! Иначе они сядут нам на шею.

Они дошли до угла и остановились.

— Дальше меня не надо провожать, — сказала Ямиля. — Тут светло, и я добегу. Спасибо за вечер.

— Не за что, Ямиля, — Гумер взял ее руку и пожал пальцы. — Это тебе спасибо. Извини, что мы не потанцевали.

— Ну, что ты! Мне было и так хорошо... — Она заглянула ему в глаза и, поколебавшись, спросила: — А почему ты меня пригласил сегодня в ресторан?

— Отпраздновать мой день рождения.

— Правда?

— Да. Двадцать шесть лет. Уже.

— Теперь я понимаю, почему тебе так трудно живется! — медленно проговорила Ямиля, пряча подбородок в шарф. — Ты никому не веришь. Кроме самого себя. И поэтому ты никогда не победишь Сафарова. Никогда!

Она осторожно высвободила свои пальцы из его руки, грустно взглянула на него, повернулась и быстро пошла через улицу.

— Это неправда! — крикнул Гумер. — Ничего ты не поняла.

На углу она обернулась, но Гумера уже не было.

Сунув руки глубоко в карманы куртки, он шел по мокрой мостовой к автобусной остановке...

* * *

А потом было комсомольское собрание. Никто не думал, что оно получится таким бурным, да и ничего, казалось, не предвещало бури.

Ирек быстро отбарабанил доклад и сел на свое место в президиуме. Представитель горкома с сонным лицом что-то записывал в блокнот, изредка поглядывая в зал, который тоже жил своей привычной и в общем-то независимой от президиума жизнью: кто украдкой читал, кто лениво переговаривался с соседом, двое рядом с Гумером играли в «Морской бой»...

Выступающие сменяли друг друга: председательствующий через каждые пять — семь минут, держа перед собой листок, называл следующего оратора. Читал он плохо, коверкал фамилии, и от этого было еще тошнее. Гумер не выдержал.

— Дайте мне слово! — крикнул он, вставая.

Зал всколыхнулся: дремавшие проснулись, читавшие — подняли головы... Представитель горкома нагнулся к Иреку, и тот, смотря на Гумера, что-то начал ему быстро объяснять.

— Тебя же нет в списке выступающих! — растерялся председательствующий.

— Мне никто не говорил, что надо записываться! — так же громко сказал Гумер и зашагал к трибуне.

— Постой! — вскочил Ирек. — Тебе же еще не дали слова.

— Не дали, так дайте!

Гумер уже стоял на трибуне и поправлял микрофон. В зале вспыхнуло веселое оживление.

— Пусть говорит! — крикнул кто-то, и его поддержали аплодисментами.

— Вот я сидел и думал, — начал Гумер. — А думал я о том, для чего созывают наши комсомольские вожакИ в рабочее время столько рабочих, техников, инженеров? Видимо, для того, чтобы или сообщить нам нечто важное, или послушать нас о таком же важном. О чем же говорил комсорг? О том, что мы хорошо работаем. Правда, он забыл сказать, что лично он к этой стороне нашей жизни не имеет никакого отношения. Далее. В отчете в числе комсо-

мольско-молодежных бригад названы три, якобы созданные в нашем сушильном цехе. Ответственно заявляю, что они не только никогда не были созданы, но и не могли быть созданы, поскольку нет в том нужды. Он говорил, что экономический эффект от внедрения рацпредложений по сушильному цеху составил пятьдесят тысяч рублей. Ответственно заявляю, что за последний год у нас не внедрено ни одного предложения, а следовательно, эффект равен нулю. Далее. Комитет комсомола якобы добился важных результатов в борьбе с пьянством. Я не знаю, откуда он брал данные по нашему цеху. Но вот то, что пятеро из моих слесарей-комсомольцев в этом году побывало в вытрезвителе, знаю точно. Примерно такие же уточнения я мог бы сделать и по другой работе комитета комсомола в отчетный период. Спрашивается, зачем Иреку Фахрутдинову понадобилось вводить в заблуждение собрание? Только для того, чтобы мы с вами признали его работу удовлетворительной и снова избрали его комсоргом. Весь этот спектакль, участниками, а не просто зрителями которого мы все с вами являемся, и рассчитан на то, чтобы дать возможность Иреку Фахрутдинову еще два года посидеть в руководящем кресле. И теперь я спрошу вас: зачем вам нужно такое собрание? Книги лучше читать дома или в библиотеке, разговаривать удобнее лицом к лицу... Может, мы быстренько поднимем руки «за» да и разойдемся по своим рабочим местам? Чего же обсуждать то, чего не было? И намечать то, чего никогда не будет сделано? Приписок у нас и без того хватает, чтобы приписывать еще себе и бурную комсомольскую деятельность...

Зал несколько мгновений оглушенно молчал, потом загудел: кто-то засмеялся, несколько человек захлопали в ладоши. Представитель горкома наклонился теперь к секретарю парткома, который, побурев лицом, смотрел отсутствующе в зал. Ирек дергал за руку совсем растерявшегося председательствующего и что-то ему подсказывал. Наконец тот встал:

— Товарищи! Продолжаем собрание... Слово предоставляется...

— Пусть выступает, кто хочет! — крикнули из зала.

— Товарищи! — представитель горкома постучал карандашом по графину и строго сказал: — Есть определенный порядок, его надо соблюдать...

— Не нужен список! — потребовал чей-то голос.

— Ставь на голосование! — поддержал его другой.

Собрание почти единогласно приняло решение отменить список. Первым к трибуне вышел молодой слесарь.

— Хабиров прав, — проговорил он скороговоркой. — Ничего у нас комсомол не делает. Видимость одна. Вот я плачу взносы, и все. И пьют у нас в общежитии. Нечем заняться.

— А сам-то пьешь? — спросил из зала ехидный голос.

— И я пью... Когда деньги есть! — добавил он под сочувствующий смех. — Вот тут Фахрутдинов наговорил разного, а я слушаю и не узнаю: вроде бы и не о нас это все... Значит, врет? А если врет, зачем он нам нужен? У нас вот слесарей не хватает — пусть приходит к нам. Все делом займется. И врать тут отучим. Значит, и будет воспитание...

Зал с восторгом принял путаную, обрывистую речь слесаря — ему долго аплодировали.

— А я считаю — неправильный тон задал Хабиров, — сказал инженер из отдела снабжения. — Ему надо было сначала сказать, что он сам как комсомолец сделал, а потом уж критиковать комитет комсомола и лично Ирека Фахрутдинова. Мне, например, доклад понравился. Если есть там неточности, их надо поправить. А компрометировать комитет комсомола мы не позволим. Так что предлагаю работу комитета комсомола признать удовлетворительной. И Фахрутдинова надо поддержать. Он парень неплохой, а то, что комсомолом не занимается, это дело поправимое. Надо только сказать ему, что делать...

В одной стороне зала раздался топот, в другой — аплодисменты. Аудитория раскололась. Председательствующий стучал карандашом по графину, но стука этого никто не слышал...

* * *

— Ну, и что теперь будем делать, Хабиров?

Секретарь парткома смотрит на Гумера тяжелым взглядом, потом переводит его на представителя горкома комсомола. У того вид побитой дворняжки, но глаза злые.

— Просто поразительно! — говорит он, косо взглянув на Гумера. — Такого у нас еще не было... Я так считаю, Иван Павлович: Хабиров проявил вопиющий факт безответственности. Он — поджигатель...

— Чего-чего? — недовольно спрашивает секретарь парткома. — Давай-ка без ярлыков... Ты почему не посовето-

вался, Хабиров? Взял и вылез на трибуну. И перебаламутил собрание.

— Он его просто сорвал, — вставляет представитель горкома. — Повел за собой отсталые элементы.

— Какие отсталые элементы? — вскидывается Гумер.

— Крикуны и бездельники, люди, сводящие личные счета. Вот чьим рупором вы, товарищ Хабиров, стали!

— Я высказал свое мнение. Оно было поддержано и дополнено другими комсомольцами. Так что выбирайте, пожалуйста, выражения.

— Он считает, что он прав! — возмущается представитель горкома, обращаясь к секретарю парткома. — И вы его слушаете!

— Ладно, — говорит секретарь парткома морщась. Ему не нравится разговор, но он не знает, как его продолжать дальше: с одной стороны, с другой стороны... Раньше бы — знал, сейчас время изменилось, и надо думать, прежде чем решать. Как ни крути, а наломал Хабиров дров, конечно. Теперь объясняйся, как да почему... Виданное ли дело — прокатили секретаря комитета!

Когда бюллетени подсчитали, даже глазам своим не поверил: всего десять — за, остальные — против. Спросят — куда смотрел, что ответишь?..

— Ну и что будем делать? — повторяет он свой вопрос. — Надо же секретаря избирать!

— Согласовать с горкомом кандидатуру надо, — говорит представитель, обиженный на то, что секретарь парткома уводит разговор в сторону.

— Какую? Кого?

Вопрос его повисает в воздухе, потому что ни к кому не обращен персонально. Представитель горкома пожимает молча плечами — дескать, не при Хабирове же обсуждать, он свое дело сделал. Хабиров молчит, поскольку все, что хотел сказать, уже сказал.

— Я могу идти? — спрашивает он.

— Иди, — машет рукой секретарь парткома. — Но ты себя победителем не чувствуй, Хабиров. Мы еще вернемся к этому разговору.

* * *

А на фабрике тем временем шла подготовка к проверке идеи Сафарова. Несмотря на отрицательное мнение инженеров, участвовавших в первом обсуждении у генерально-

го директора, на письменное заявление главного механика, в котором принципиальные возражения сопровождались весьма резкими оценками деятельности главного инженера фабрики, — несмотря на все это Сафарову удалось настоять на проведении эксперимента. Выбор свой он остановил на первом агрегате. Из-за него Гумер накануне едва не поссорился с Ямилей.

Сафаров появился в цехе вместе с главным энергетиком и главным технологом. Ямиля, предупрежденная им по телефону, тоже была здесь. Она в разговоре не участвовала, но на лице ее читалось настороженное внимание и озабоченность.

Чертежи и расчетные листы были разложены прямо на кожухах дымососов, новый двигатель для барабана стоял тут же, и рабочие начали уже снимать упаковочные доски, откладывая их аккуратно в сторону.

— А где Хабиров? — спросил главный энергетик у начальника цеха Казаргулова. Тот явился с опозданием и, смущенный, скромно держался в тени. Черт бы побрал этого вахтера: знает ведь в лицо, а проявил принципиальность — не пустил без пропуска, пришлось звонить в бюро, объяснять, как да что. За двадцать лет работы первый раз забыл переложить удостоверение в новый пиджак — недаром не хотел надевать на работу, нет, жена настояла — покажись в обновке, вот и показался! Позор на седую голову, глаза теперь ни на кого не поднимешь. Он так ушел в свои переживания, что не понял вопроса главного энергетика и дождался, пока тот раздраженно не повторил: — Где Хабиров, спрашиваю?

— Тут должен быть, — растерянно ответил он, ища глазами Хабирова, словно он и вправду где-то рядом прятался.

— Хабиров у генерального директора, — сказала Ямиля нарочито громко.

— Чего он там потерял? — удивился главный энергетик и укорил начальника: — Порядка у тебя не вижу: и сам опаздываешь, и подчиненные не торопятся... Вызвал, что ли?

Казаргулов пожал плечами, посмотрел на Ямилю, но та не стала пояснять. Она знала, что Гумер сам напросился на прием к генеральному директору объединения и велел ей как можно дальше тянуть переоснастку агрегата, надеясь, что ему удастся остановить эксперимент. Только как тут затянешь, если у нее никто и не собирался спраши-

вать разрешения. Сафаров не только главных специалистов сюда привел, но и молодых инженеров с другой смены во главе со сменным механиком Абдрашитовым: он его опекал с давних пор и прочил на замену Гумера. И это была, конечно, более реальная кандидатура, чем Ирек, который после комсомольского собрания оказался вообще не у дел.

Абдрашитов, почти одноклассник Гумера, отличался завидным оптимизмом, балагур и весельчак, был незаменим в любой компании, с Сафаровым находился на короткой ноге и уже в силу этого относился к механику цеха иронически. Может быть, потому Гумер не очень ему доверял и старался в его смену быть в цехе.

Почему Сафаров решил начинать эксперимент во время ее дежурства, Ямиля, честно говоря, не понимала, хотя, зная главного инженера, отнести на счет случайности это никак не могла. Чувствовала — есть тут какой-то подвох, только вот для кого?

Она оглянулась на Абдрашитова, стоящего с инженерами в сторонке, тот широко улыбнулся и двинулся к ней, поняв ее взгляд как приглашение к разговору.

— А ты все красивее и красивее день ото дня, — шепнул он ей на ухо, галантно склоняя ухоженную голову к ее плечу. — Жаль, никак мы с тобой не состыкуемся: я сплю, ты работаешь, и наоборот. Кошмар какой-то! Так и завянешь во цвете лет без женской ласки.

— Фу, Асхат! — поморщилась Ямиля. — Нельзя без пошлостей, да?

С ним рядом она всегда чувствовала себя свободно и уверенно, не придавая ровно никакого значения его дежурным комплиентам: он со всеми девушками так разговаривал — вроде бы намекая на какие-то особые отношения, но все знали, что был он железно предан и верен своей красавице жене, которую привез из далекого Ташкента. Ямиля видела однажды ее мельком — и в самом деле, не зря люди говорили. Ничего, конечно, в ее отношении к Абдрашитову не изменилось, но тем не менее общаться с ним она стала без прежней настороженности.

— Можно, но зачем? — отвечая на ее колкий вопрос, сказал Абдрашитов. — То, что ты называешь пошлостью — извлек из самой глубины своей души...

— Лучше скажи, зачем ты здесь?

— Я? А кто лучше меня знает эту старушку, которую сегодня решили выдать замуж? — он кивнул на агрегат.

— Ну, положим, я ее не хуже тебя знаю... Не темни, выкладывай — что и зачем?

— Браки совершаются на небесах, дорогая Ямиля! — уклончиво заметил он, и она поняла, что Абдрашитову не хочется говорить об этом.

— А ты уверен, что все обойдется?

— Как тебе сказать... Может — да, а может — и нет. В конце концов наше с тобой дело маленькое. Тут, — он показал глазами на главных специалистов, — считай, весь синклит собрался. Им и решать, и отвечать.

— Но Хабиров...

— Что Хабиров? — перебил ее Абдрашитов. — Псих он ненормальный! Он что, на самом деле считает, что без него не обойдутся? Или никто, лучше его, машины не знает? Он еще на горшке, прости, сидел, когда эти барабаны запустили. Качали концентрат — будь здоров! Поболее, чем сейчас.

— Может быть, и качали — на новых машинах. А сегодняшние на ладан дышат. Или ты не знаешь? — возразила Ямиля.

— Тьфу! — дурашливо воскликнул Абдрашитов. — Тебе эта песенка хабировская не надоела еще?

— Не надоела, потому что он прав. Нельзя так безоглядно работать. Мы же не одним днем живем. Кого вы хотите обмануть? Себя? Нас? Государство? Телегу собираетесь гнать со скоростью машины. И это инженерное решение? — Ямиля произвольно подняла голос, и Сафаров выглянул из-за спины главного технолога.

— Что там за крик? Кому не нравится инженерное решение?

Абдрашитов предостерегающе подмигнул Ямиле, но она, чуть наклонившись вперед, показала себя и громко ответила:

— Мне не нравится.

— Это почему же? — сказал Сафаров, подходя.

— Потому что агрегат нуждается в капитальном ремонте. Мы должны были поставить его на ремонт еще в прошлом месяце, но вы, товарищ Сафаров, не разрешили.

— Так, так, — скучно проговорил главный инженер и надвинул кепку поглубже. — Дальше?

— А что дальше? Дальше некуда.

— Говорливые у тебя механики! — сказал Сафаров начальнику цеха. — Но нам разговаривать некогда. И пото-

му — как вас, Нафикова, да? — я вас временно отстраняю от работы. Абдрашитов вполне справится и один.

— Это самоуправство! — вспыхнула Ямиля.

— Конечно! — согласился Сафаров. — Есть у меня такое право, вот я его сам и использую... Ты слышал, Абдрашитов?

Тот оглянулся на Ямилю и неуверенно кивнул.

— Ну, раз слышал — приступай. Мы подойдем часа через два. Двигатель к тому времени должен стоять на месте. И прогони его вхолостую пока.

— Понял! — сказал Абдрашитов.

. : : ? : :

— Чё ты сунулась, чё ты сунулась? — ругал начальник цеха плачущую Ямилю. — Он же бульдозер, танк, он тебя в порошок сотрет и не заметит. Что тебе, больше других надо? Молчала бы себе в тряпочку... Еще неизвестно, что из всего этого получится, а вы с Хабировым шум подняли на всю округу. Чего вы добиваетесь, не пойму? На вот, выпей водички...

Он налил из графина воды и протянул Ямиле стакан.

— Что я, истеричка какая? — возмутилась та и отвела от себя его руку. — Обидно мне просто.

— Да не уволил он тебя, а отстранил, чего — обидно? Чтобы уволить, приказ нужен, дурная твоя голова! Иди отоспись, завтра разберемся.

Казаргулов глотнул из стакана воды и чуть не поперхнулся — кто-то сунул голову в дверь и заорал: «Там Хабиров с Абдрашитовым...» — и исчез, проглотив последнее слово.

— Этого еще нам не хватало! — кашляя, просипел Казаргулов и побежал в цех. Ямиля выскочила вслед за ним.

* * *

Гумер просидел в приемной генерального директора комбината полтора часа и ушел несолоно хлебавши: тот принимал какую-то делегацию.

Секретарша, поднимая разноцветные телефонные трубки, отвечала всем монотонно: «Он занят, соединить не могу» — и только раз быстро переключила телефон. «Секретарь горкома», — коротко пояснила она не то Гумеру, не то самой себе, потому что была на редкость неразговорчивой.

— Зря сидишь, — наконец сказала она. — В одиннад-

цать у него оперативка. И секретарь парткома просил сообщить, когда освободится. Сам понимаешь... Назначит другое время, найду.

— Спасибо, — Гумер встал, с сожалением взглянув на закрытую дверь. — Только вы ему обязательно скажите.

— Иди, иди, чего зря повторять? — недовольно проговорила она.

* * *

Двигатель заменили быстро — электрики свое дело знали. Абдрашитов вытер руки ветошью и, взглянув на часы, пошел к пульту: Сафаров любил, чтобы его указаний выполнялись точно. Зря, конечно, он Ямилю отстранил, и вообще, говорил ведь ему, что не надо с ее сменой связываться: у нее что-то вроде романа с Хабировым — видели их вместе в ресторане. А раз так, женщину никаким пряником не заставишь делать то, что она душой принять не может. И его он зря в эту историю впутал — ему с Ямилей делить нечего, наоборот, кабы не жена, с превеликим удовольствием бы сам с ней в ресторан ходил. Если Хабиров не дурак, он двумя руками за нее ухватиться должен — такие кадры на улице не валяются. Только что-то не видно, чтобы очень уж спешил, из цеха не вылазит, чудак-человек, нашел себе амбразуру... «Хотя и намекал мне Сафаров, что двинет в скором времени в главные, думаю — ни к чему это все, не хочется на живое место, в тягло такое впрягаться тоже не хочется. Тут только такой человек, как Хабиров, и может, наверное, на раскладушке спать в цехе, а лично я так спать не согласен. И если честно, мне тоже не по душе эта сафаровская затея: по грани будем ходить, это уж как пить дать!

Чуть перебор — и кто в тюрьму сядет? Мы с Ямилей и сядем, а Сафаров крылышки отряхнет — и только его и видели. И Хабиров, конечно, тоже с нами в одной компании будет...»

Нехорошие эти мысли пришли вовремя. Абдрашитов потянулся было к кнопке, но задержал руку и оглянулся.

— Эй там, на вахте! Отойдите-ка на всякий случай подальше.

— Вот-вот, — сказал Гумер, быстро подходя к пульту. — Расчеты расчетами, а все-таки подальше, да? — и вдруг заорал во весь голос: — Какого черта здесь распоряжаешься?

— Ты не кричи, Хабиров, я не глухой, — остановил его

Абдрашитов. — А распоряжается здесь товарищ Сафаров
Главный инженер, если не забыл.

Не хотел он ссориться с Хабировым, видит бог, не хотел, только кричать никому на себя не позволял, и без того тошно на душе.

— Пока я тут за механизмы отвечаю, никаких фокусов делать не разрешу. Ясно? — сказал Гумер и встал между пультом и Абдрашитовым.

— Так без твоего разрешения обошлись, — усмехнулся тот. — И осталось-то кнопку нажать... У меня указание Сафарова проверить движок, и я проверяю... Отойди, Гумер, по-человечески прошу. Не мешай. Сейчас придет Сафаров, с ним и разговаривай...

Что произошло, никто из стоящих в разных концах участка толком не понял. Увидели только, что Абдрашитов взмахнул руками и исчез из поля зрения. Видели так же, что Хабиров быстро наклонился к нему и что-то там, внизу, стал делать... Остальное происходило в полной суматохе. Прибежали Назаргулов с Ямилей. Прибежала медсестра с автомобильной аптечкой. Быстрым шагом прошествовали туда и обратно нахмуренный Сафаров, главный энергетик и главный технолог.

Наконец разобрались: Абдрашитов, оттесненный от пульта Гумером, споткнулся и упал, ударившись головой о какую-то железяку. Не сильно, но до крови.

Теперь он сидел на кожане дымососа, приложив к затылку ватный тампон, и тихо ругался, а Гумер, бледный и растерянный, стоял рядом, не зная, куда себя девать.

— Дурак ты, Гумер, ах какой дурак! — сказал Абдрашитов не зло, а с какой-то даже проникновенностью. — Ну, что б тебе на пять минут позднее прийти, а?

Странное дело, но именно в эти минуты, когда от пережитого страха осталась только холодная испарина на лбу, Гумер твердо сказал себе: все, больше он и пальцем не пошевелит, пусть катится к черту Сафаров со своими затеями! Уйду в слесаря, в управдомы, в лесники — куда угодно уйду. Нет больше у меня ни сил, ни желания, ненавижу эти железки, себя ненавижу, жизнь эту неустроенную ненавижу — что еще?

— Извини... Я не хотел...

— Да пошел ты! — в сердцах закричал Абдрашитов. — Не о том я вовсе... Вон, чувствую, шишка растет, как шапка теперь надену?

И люди, стоящие вокруг, облегченно захохотали.

Никто из работников цеха, естественно, не придавал большого значения происшествию — посмеялись и разошлись по своим делам. Как ни сопротивлялся Абдрашитов, его все-таки заставили сходить в медпункт, где выстригли волосы на затылке, промыли перекисью водорода небольшую ранку и туго забинтовали голову бинтом. Вид у него стал сразу же пугающе-впечатляющий, но домой он идти отказался и двинулся к электрикам, которые за время его отсутствия обнаружили в новом редукторе дефект и ждали распоряжений.

— Знал бы, не падал! — мрачно пошутил Абдрашитов и пошел звонить Сафарову. Тот распорядился чинить, поскольку запасных редукторов на складе больше не было.

— А агрегат запускать, готовь ко второй смене! — добавил он.

— Туда-сюда! Что мы — двужилые, да? — возмутился Абдрашитов. — Я свою смену уже отработал, пусть Ямиля потрудится.

Но Сафаров его горячие слова пропустил мимо ушей: — Делай, как сказано!

Гумер как ушел отсюда, так и не появлялся. Твердо решив больше ни во что не вмешиваться, он позвонил в приемную генерального директора, чтобы отменить свою просьбу о приеме. Однако секретарша сухо ответила, что тому не только уже доложили о нем, но и о том, что произошло в цехе. Так что пусть он, Гумер, сидит на месте и ждет звонка.

— А что произошло в цехе? — удивился он. — И кто доложил?

Секретарша только фыркнула в ответ и положила трубку.

С генеральным директором ему встречаться еще не приходилось — видел, конечно, на собраниях, слушал его выступления, но как и многие — только из зала. Говорили о нем разное: мол, и суров-то, и резок, что положение его в последние годы пошатнулось — не очень ладит с местными властями, а наверху, в области, лишился надежной поддержки.

Ходили слухи и о том, что собираются его менять, называли даже кандидатуру секретаря горкома партии по промышленности, который был частым гостем в объединении. Как бы там ни было, а неурядицы в подразделениях

объединения, и в первую очередь на их фабрике, давали основания для подобных разговоров. Уже давно объединение не хвалили ни в печати, ни в докладах районных руководителей, а из области часто наезжали комиссии.

Словом, было о чем подумать Гумеру в ожидании звонка из приемной генерального директора. Утром, движимый уверенностью в своей правоте, он бестрепетно поднялся на второй этаж заводууправления и сидел потом в приемной, замороженно глядя на высокие дубовые двери кабинета. И знал, как и что должен сказать, невзирая на настроение руководителя, который, несомненно, был в курсе затеваемого Сафаровым эксперимента. Но теперь все продуманные ночью, не раз взвешенные слова уже не казались столь убедительными. Что, собственно, мог противопоставить он идее Сафарова? Свои ощущения или предчувствия? То, что слышалось ему в гуле барабана? Говорить директору, проработавшему здесь полтора десятка лет, что оборудование устарело, работает на износ, что необходима модернизация? Или о том, что нельзя наращивать производительность агрегатов за счет сокращения сроков профилактического ремонта? Что есть такие понятия, как износ металла, сопротивление материала, амортизация и тому подобное, известное тому, как дважды два? А как объяснить, что деятельность главного инженера фабрики порочна в самой своей основе, поскольку преследует вовсе не интересы производства и работающих на нем людей, а всего лишь — собственную корысть?

Нет, не был столь наивным Гумер, чтобы не понимать, какой может быть реакция генерального директора, обладающего всей информацией о всех службах огромного предприятия. И как бы ни был он, директор, озабочен своими личными неприятностями, ежели они у него, действительно, есть, не мог он положиться лишь на нахрапистость и удачливость Сафарова. «Ну, не сумасшедший же он, в конце концов, чтобы не видеть, не понимать того, что увидели и поняли не только я, но и главный механик, и старые инженеры, и Ямиля, и еще многие люди, которые сейчас почему-то отмалчиваются. Ведь, уверен, и Абдрашитов, хотя и оказался правой рукой Сафарова, тоже не в восторге от его идеи — у него же в глазах написано, что боится. Боится и делает. А чего, спрашивается, боится? Почему, когда я ему не дал запустить агрегат, решил вдруг оттеснить меня, изловчиться как-то, чтобы добиться своего?

Угодить Сафарову? Досадить мне? Абсурд! Не такой он человек, чтобы идти напролом. Не стал бы я драться с ним из-за этого, не стал, и он прекрасно понимал, что ни час, ни день, ни неделя в таком важном деле большой роли не играют, что у Сафарова, директора фабрики, даже начальника цеха есть возможность изолировать меня, просто отодвинуть в сторону, как сделали это с Ямилей... А упал, поранил голову — и как отрезвел — сначала ругался, потом шутил и смеялся, будто виноватым себя чувствовал передо мной...»

Через час Гумера вместе с начальником цеха позвал к себе директор фабрики. Был он хмур, взвинчен и даже не предложил им сесть.

— В три часа вызывает генеральный, — коротко сказал он, ни на кого не глядя. Потом встал, походил по кабинету, время от времени спотыкаясь о край старого, изрядно изношенного ковра и каждый раз раздраженно оглядываясь на помеху. Старый, усталый человек, давно переживший свое директорство...

Мучила его давно уже тяжелейшая астма, но он пытался скрыть немощь и болезнь, раньше всех приходил и позднее всех уходил с фабрики, боясь телефонных звонков «сверху», боясь критики «снизу», боясь рядом работающих — всего боялся и все-таки сидел в крутящемся, таком же старом, как и он сам, кресле, непонятно почему, неизвестно зачем... Фабрикой давно уже управлял Сафаров, и было ясно, что директор для него — всего лишь удобная ширма, он и в грош его не ставит, но будет защищать и помогать до тех пор, пока это будет ему самому выгодно. И целесообразно, что для Сафарова было одно и то же.

— А его-то зачем? — спросил, кивая на Гумера, Казаргулов. — Вроде раньше обходились.

— Раньше обходились, а теперь нет, — сказал директор, снова опускаясь в кресло. Постучал пальцем о край стола и поднял глаза на Гумера: — Просился к нему, что ли?

— Просился утром сегодня, но он был занят, — ответил Гумер. — Велено ждать.

— Был занят, а сейчас вот освободился, — заметил директор с той же медлительной интонацией. — Теперь, считай, дождался... Чего просился-то?

— Вы знаете — зачем, — сказал Гумер. — Нельзя ускорять скорость барабанов,

— А-а... — протянул директор иронически и стал разглядывать свои руки, поворачивая то одну, то другую ладонь. Была у него такая смешная привычка, которой он, как сам пояснял любопытствующим в минуты душевного расположения, останавливал себя от вспышек гнева.

Убрал руки со стола и сказал, обращаясь к начальнику цеха:

— Вот, Казаргулов, учись у молодых делать глупости. И не надо тебе будет вставать каждый день в шесть утра и собачиться потом целый день в своем треклятом цехе. Он, Хабилов, без года неделю работает у нас, а уже все лучше всех знает.

— Я... — начал было Гумер, но директор махнул ему рукой:

— Помолчи, Хабилов: там, наверху, объяснишь, уж коли сам напросился. Чего зря здесь словами разбрасываешься? Ты лучше скажи, зачем голову Абдрашитову разбил? С ним-то чего не поделили, а?

— Он? — удивился Казаргулов, оглядываясь на Гумера. — Кто это выдумал? Споткнулся и шишку себе набил Абдрашитов. В цехе давно уже лясы точит.

— Но ты его не пускал? — спросил директор Гумера. — От пульта отталкивал?

— Не пускал, — сказал тот. — Но не отталкивал.

— Значит, он взял и сам себе башку разбил?

— Ну да, сам! — вклинился Казаргулов. — А кто же еще?

— А ты что — адвокатом тут выступаешь? — недовольно обрезал его директор. — С тебя ведь тоже спросится, не думай. Развели тут, понимаешь, разные разности: не пускал, не толкал, сам себя зарезал... Детский сад, понимаешь!

— Не детский сад! — разозлился Казаргулов. — Но вы, Сабир Сабирович, не той информацией пользуетесь, вот что я вам скажу!

— А ты там был, сам видел? — вкрадчиво спросил директор. — А, Казаргулов?

— Я позднее пришел, — смешался начальник цеха. — Но почти вскоре, через две-три минуты...

— Так чего же тогда кричишь? Чего заступаешься, спрашиваю? — визгливо крикнул директор и снова начал рассматривать свои ладони. — И не у тебя я спрашиваю, а вот — у Хабилова. А?

— Я все сказал! — ответил тот. — Пускать не пускал,

но и толкать не толкал. Абдрашитов споткнулся и ударился. Думаю, он сам лучше расскажет.

— Если у него спрашивать кто-нибудь будет — расскажет, — заметил директор, успокаиваясь. — Наверное, расскажет. Только ты не понимаешь, да?

— А что я должен понимать?

— Что дров наломал, не понимаешь?

— Не понимаю.

— Он не понимает, Казаргулов! — картинно развел руками директор. — Объясни ему тогда ты, что фабрика не кружок художественной самодеятельности. Что, если в цехе люди сами себе головы разбивают, то кто-то должен за это отвечать все равно. Даже если им нравится головы разбивать. Что на рабочем месте работают, а не спорят. Что, если есть приказ, его надо выполнять, а не устраивать сцены у фонтана. Я ясно говорю, Казаргулов? Вот это все и объясни Хабирову до трех часов, чтобы он у генерального потом не спрашивал, что да почему! Ты думаешь, я его защищать буду? Нет, не буду и тебе, Казаргулов, не советую.

— А это я еще посмотрю! — сказал Казаргулов, упрямо сжимая губы. — Мне лично вся эта история не очень нравится.

— Ну, давай, смотри-смотри! — разрешил директор. — А я пока подумаю, кого мне на твоё место пригласить. Так что я вам все сказал, а вы уж там сами решайте, как быть...

И кивнул головой, давая понять, что они свободны.

* * *

Казаргулов, чуть косолапя, идет впереди Гумера. Плечи у него опущены, руки расставлены, как у штангиста. Здоровый мужчина Казаргулов, никто не скажет, что ему уже далеко за пятьдесят. Если, конечно, смотреть со спины. Лицо у него все в морщинах, виски — седые, а глаза — усталые. Начальником цеха он работает давно — битый-перебитый — одних выговоров, строгих и простых, столько, что со счета сбился. И внимание перестал на них обращать. Да и вообще, если честно сказать, не пугливый он — до пенсии совсем ничего, как шестьдесят исполнится — дня не задержится. Просился года два назад в мастера — не пустили. И правильно в общем-то сделали: где еще такого дурака найдут, который будет в сушильном цехе работать? Сюда разве в порядке наказания направлять, да и то на

определенный срок. А он таких сроков уже сколько отбарабанил здесь? Как жена говорит — давно бы вышел...

Вот теперь эта еще история. Яйца выеденного не стоит, а сердце чувствует — раскрутят. Что-что, а такое мы умеем, дай только повод! Кто же, интересно, слушок о драке пустил? Кому надо, кому выгодно?

Гумера начальник цеха недолгобливает — за дерзость, несдержанность, за то, что всюду свой нос сует. Беспокойно стало с ним, трудно. Раньше как бывало? Сломалось что — ремонтировали. Ругали — отмалчивались и делали, как считали нужным и возможным.

Как специально жизнь распорядилась, чтобы на одном пяточке два таких характера столкнуть. Словно двух злых котов в один мешок посадили — Хабирова да Сафарова. Оба молодые, горячие, нетерпеливые, только куда Хабирову тягаться с Сафаровым? Тот взвалил на себя все производство и тянет, а этот вокруг машин как курица с яйцом носится. Одному надо из них все, что они могут дать, выжать, другому, что называется, и родить, и невинность сохранить. Никак им не разойтись без драки — слишком узкая дорожка. Обязательно кто-то кого-то столкнуть должен. По большому счету если, то Хабиров, конечно, прав: нельзя беспощадно технику эксплуатировать, на форсаже далеко ли уедешь? Уже сейчас утром приходишь в цех и не знаешь, что днем случится. А Сафаров одно твердит: все, что крутится, должно крутиться, и никаких гвоздей! С другой стороны, отсюда и зарплата, и премии, и уважение... Мне-то что?

Дотяну как-нибудь до пенсии, буду с удочкой на берегу посиживать. Вот тому, кто после меня придет, не позавидаю. Ошметки от цеха ему достанутся, если, конечно, до того времени агрегаты доживут еще. О новой технике в основном в газетах и читаю. Есть, пишут, другие уже машины где-то. И если, к примеру, о Сафарове говорить, ему какого коня ни дай, он любого в плуг запряжет и заставит тащить. Что тягловую, что скакуна. Для него разницы нет — лишь бы пахал. Потому и в гору идет. Начальству переживания этих коняг до лампочки — им план подавай, и чем больше, тем лучше. Так было, так будет, во все времена, себе, что называется, дороже. Но справедливость тоже нужна.

Хабиров хотя и надоел, а зазря на него кто-то клепают: тоже свое дело знает и ради него печется. Сунула его легкая к барабану. И не виноват вроде бы прямо, а башку

Абдрашитов разбил — вот ведь какая штука получается... Сафаров, если кому и голову оторвет, докажет, что так оно и было, а этот...

— Чего молчишь? — спросил, не поворачиваясь к Гумеру.

— Думаю...

— Раньше думать надо было. Видишь, как вопрос поворачивают?..

— Глухой телефон, — усмехнулся Гумер.

— Что — глухой телефон? — не понял Казаргулов.

— Да игра такая детская есть: не расслышал чего толком — говори, что слышалось... Это не серьезно. И не о том я сейчас думаю.

— Да нет! Чую, неспроста сюда заворачивают... Сидел бы себе в отделе, чего с таким характером на производство лезть?

— А что вам мой характер?

— Дурной у тебя характер: в каждую дырку затычка. Комсомол перебаламутил, у нас вот тут... Всех дырок все равно не заткнешь, как ни старайся.

— А вам надо, чтобы я всем в рот заглядывал?

— В мой, например, не надо. У меня и без тебя есть кому туда смотреть.

Дальше шли уже молча, недовольные разговором. И разошлись до трех часов в разные стороны так же, кивнув друг другу, молчаливо.

* * *

Через несколько часов Гумер был уволен с работы. На совещании в кабинете генерального директора говорили о плохом состоянии машин, о ремонтной службе, работающей из ряда вон плохо и в связи с этим ставящей под угрозу выполнение государственного плана и социалистических обязательств.

Справка была составлена таким образом, что Гумеру нечего было сказать по существу претензий. Казаргулов пытался возражать, но его быстро осадили, директор фабрики со всем согласился и пообещал принять меры. Сафаров отмолчался.

Завершая совещание, генеральный директор вскользь коснулся случая с Абдрашитовым, но только лишь в связи с многочисленными нарушениями в сушильном цехе техники безопасности.

Никто на Гумера, на которого был обрушен главный

удар, не смотрел, и едва закончилось все, он, так же ни на кого не глядя, вышел из кабинета, оделся в холодном, пустынном гардеробе и шагнул с порога в метель...

...Гумер очнулся, потревоженный каким-то странным звуком — словно лопнула с тающим звоном гитарная струна.

Внутри стога было сухо и темно.

Он вытянул онемевшие ноги, подвигал руками и прислушался: звон повторился, но теперь он был тише и протяжнее. «Провода! — догадался Гумер. — Это гудят провода. Значит, здесь, рядом, проходит высоковольтка».

Он разгреб сено, которым завалил вход, и выбрался наружу. Метели не было и следа.

Над огромным сумрачным полем клубились такие же сумрачные облака. Метрах в двадцати верховой ветер тревожил провода высоковольтной электропередачи. Или то гудели черные столбы? Совсем недалеко виднелись огни города.

«Странно, как я их не заметил? — подумал Гумер, оглядываясь. — Надо же, заблудился рядом с городом. Так бы и замерз, если бы не этот стог... Вон по той улице я, наверное, и вышел в поле, а потом сбился с дороги», — сообразил Гумер, все еще удивляясь тому, что с ним произошло.

Проваливаясь по колено в снег, он вскоре и в самом деле вышел на дорогу. Накатанная колесами машин до асфальтовой твердости, она сейчас едва проглядывалась под наметенным снегом. Следов здесь никаких не было — значит, никто не проходил и не проезжал: видимо, где-то дальше метель полностью перекрыла дорогу, и там сейчас, должно быть, всю работу делают бульдозеры.

Он шел, обходя наносы, перепрыгивая снежные холмики, и — странное дело! — жизнь не казалась ему уже такой безотрадной. Словно те несколько часов, которые он проспал в стогу, счастливо подвернувшись ему в метель, не только сняли усталость, но и тяжелую обиду с души.

И не было ему одиноко в пустынных сумерках, на безлюдной дороге, среди снегов, под холодным, равнодушно темнеющим небом.

...Он пройдет сейчас мимо общежития, где в неуютном, пахнущем вокзальными запахами вестибюле отогревалась и томилась ожиданием Ямиля, уже дважды уходившая и вновь возвращающаяся сюда.

Пройдет мимо улицы, ведущей к дому, в котором на втором этаже все так же неизменно и печально светились желтые окна.

Пройдет, чтобы вернуться на завод, в оглушительный грохот работающих барабанов, кивком головы поздороваться с ребятами, и те сделают вид, что ничего не знают и ни о чем не ведают, переодеться в своей камерке и включиться в такое привычное, такое надоевшее, такое изматывающее душу дело, без которого его жизнь потеряла бы всякий смысл...

...Он погибнет в середине следующего дня во время запуска первого агрегата, когда двухсоттонный барабан, не выдержав нагрузки, начнет медленно сползать вниз.

В те несколько мгновений, которые еще оставались у людей для того, чтобы предотвратить сокрушительные последствия этого неумолимого падения, Гумер успеет с силой оттолкнуть в сторону оцепеневшего Сафарова.



ДОЖДЛИВАЯ ОСЕНЬ

...Я смотрю в окно и вижу ту же улицу, те же дома, что и пятнадцать лет назад. Тогда так же моросил дождь, так же плакали стекла, а небо, затянутое серыми облаками, было таким же неподвижным и мрачным, как бетонный потолок.

Пятнадцать лет. Всего или уже? Мысленно вглядываясь в пролетевшие годы, которые вместили в себя столько разного — и радостного, и горького, я думаю о минувшем с грустью: пятнадцать лет! Какой огромный срок, даже страшно представить себе, на что ушло время, отпущенное моей юности. Единственной и неповторимой.

А если бы все в жизни повторялось? Если бы мне удалось вернуться вновь в ту далекую осень? Как бы я жила тогда? С чего бы начала, как бы продолжила?

Я не знаю. Смотрю в окно и вспоминаю уфимскую дождливую осень пятнадцатилетней давности.

1

...Я стою у окна и раздумываю: идти мне в гости к Разиле или не идти? Настроения никакого. На улице идет дождь. На огромных лужах плавают желтые листья. Ветер колышет деревья.

Спешат люди, закрываясь зонтиками, какой-то мужчина тащит за руку мальчугана. Тот капризничает. Я вижу сердитое лицо мужчины, его шевелящиеся губы.

— Идем скорее домой! — очевидно, настаивает отец. — Перестань капризничать, мама ждет.

Я представляю, как будет дальше: она встречает их в прихожей, наклоняется к сыну и целует его в щечку.

— Куда же это вы пропали? Я уже начала беспокоиться...

— Никак не хотел домой идти, — ворчит отец.

— Ты почему папу не слушаешься? — спрашивает мама, но мальчуган, уже раздетый, вырывается из ее рук и бежит в комнату к своим игрушкам.

— Устал? — обращается она к мужу, привычно принимая у него сумку.

— Немного, — говорит он. — Поесть бы чего-нибудь!

— У меня все готово, ждала только вас, — отвечает она, и они проходят на кухню. И пока он моет руки, она стоит с полотенцем рядом и продолжает разговор: — В магазин новые кровати привезли. Импортные.

— Сколько стоят? — деловито интересуется он.

— Сто пятьдесят. Я смотрела — очень удобные...

Спокойный вечерний разговор двух людей, любящих друг друга. За окном — дождь, а здесь тепло, уютно. Тихо звучит музыка из репродуктора. Пахнет вкусным обедом. Мальчуган гремит игрушками в соседней комнате. Наверное, это и есть счастье.

Я представляю себе эту картину, и мне грустно. Оглядываюсь, словно сравниваю свою комнату с тем, что возникло в воображении.

Уже темно, но свет не зажжен. И если я сама не включу лампочку, никто за меня этого не сделает. Я живу одна. У меня однокомнатная квартира. Хорошая современная мебель. Центр города. Рядом с моей работой. Я хорошо зарабатываю, могу позволить себе купить то, что мне хочется. Могу делать то, что нравится. Могу уйти и вернуться в любое время. Я многое могу, и никто мне не указ. Но радости от этого мало. И с каждым годом — все меньше. Если правда, что счастье — это отсутствие желаний, то я, наверное, должна быть счастливой: а что мне еще желать? Желания появляются тогда, когда есть к кому обращаться с ними. «Милый, мне так хочется...» Или: «Любимый, я мечтаю...» Или: «Дорогой, я благодарна тебе, что ты вспомнил...» Я не могу произносить этих слов, потому что у меня

нет ни милого, ни дорогого, ни любимого. Не скажешь же себе: «Я хочу замуж»?! Смешно! И это уже не желание, а фантазия. В моем возрасте надо быть реалистичнее. «Ты уже использовала все свои шансы», — говорит мне моя соседка, каждый раз осматривая меня с ног до головы в поисках, очевидно, очередного изъяна. Ей доставляет удовольствие упрекнуть меня в том, что я не замужем. Словно это я виновата в том, что она сама осталась в старых девах. Я внимательно слушаю, а потом смеюсь: «Пока женщина помнит свой последний поцелуй, еще не все конечно». — «На что ты намекаешь?» — она сжимает свои тонкие бескровные губы и бледнеет. «Это — Мопассан, — отвечаю я безжалостно. — Афоризм». — «Какая пошлость!» — фыркает она и уходит, плоская, как камбала. Вот ей, действительно, даже фантазировать не надо. Потому что не с чем сравнивать. Она была обречена на одиночество еще в утробе матери. И не потому, что страхолюдина, а потому, что зла и завистлива. Мне ее не жалко. Других жаль, ее — нет. Если она каким-то образом выйдет замуж, я удавлюсь. Не из-за зависти, нет. Просто из-за того, что потеряю вообще веру в мужчин. В их умственные способности прежде всего. Мы с ней — как два враждующих государства, которые никак не могут жить друг без друга: ни дружить, ни воевать — только сосуществовать. И вести бесконечную психологическую войну. Когда мне весело, ей грустно. И наоборот. Иногда я специально включаю танцевальную музыку, хотя у меня кошки на сердце скребут. Я знаю, за стеной в этот момент у соседки начинается мигрень, что не мешает ей торчать у дверного глазка, наблюдая за моей дверью. Ей страстно хочется застукать кого-нибудь, входящего или выходящего из нее.

Я ее ненавижу. Она ненавидит меня. Но по обе стороны бетонной стены мы мечтаем об одном и том же: встретиться с хорошим человеком и выйти замуж. Не знаю, как она представляет себе свою жизнь в замужестве. Может быть, она собирается и дальше ходить в застиранном халате, в рваных шлепанцах и с чудовищной прической на голове, пить молоко прямо из пакета, охать и ахать по поводу своих несуществующих болезней. Мне же видится так: вот он возвращается усталый, с работы, я встречаю его у дверей, подставляю щеку для поцелуя, но он целует меня прямо в губы, прижимая к себе: «Фу! — нарочито морщусь я. — Ты весь пропах табаком!» — «Я очень соскучился, — говорит он, не выпуская меня из объятий. Потом он

осторожно касается моего живота и спрашивает озабоченно: — Как поживает наш Айрат? — «Почему Айрат? — смеюсь я. — Альмира чувствует себя хорошо». Мы уже давно спорим, как назовем нашего ребенка — ему хочется мальчика, мне — девочку.

Но это, конечно, только игра: мы оба с радостью ждем ребенка, кем бы он ни был. «Я тебе рожу и мальчика, и девочку», — говорю я примирительно, ласково проводя пальцем по его бровям.

Затем мы ужинаем, а он рассказывает о том, что у него было на работе. Мне все интересно знать — все, что касается его. Наверное, это и есть счастье — сидеть вдвоем в уютной комнате, разговаривать, зная, что каждый твой совет выслушивается со вниманием и благодарностью...

Но даже близкой подруге я не рассказываю о своих мечтах. И никогда не расскажу. В глазах знающих меня я — человек веселый и жизнерадостный. Разговоры о счастье я не поддерживаю. Может, поэтому все считают, что сама я вполне счастлива. «У тебя счастливый характер, Сария», — уверяют меня, и я соглашаюсь.

«Что ей, она такая счастливая!» — слышу частенько о себе и не спорю. Смотрю, как крутятся мои замужние подруги — дети, магазины, уборка, стирка, нехватка денег, ссоры и размолвки... Боже, озабоченные, издерганные, они вызывают во мне не сочувствие, а зависть, потому что ничего этого у меня нет. Вечерами, закрывшись в своей прекрасной квартире, я готова выть от тоски. Только разве кому скажешь об этом? Не поверят, или услышишь — с жиру бесишься... Иногда я подхожу к зеркалу и смотрю на себя придирчиво и строго. Разглядываю со всех сторон, благо зеркало позволяет видеть себя в полный рост. У меня хорошая фигура: длинные стройные ноги, тонкая талия, прекрасной формы грудь, большие глаза... Какого черта вам, ребята, еще надо? Молода, красива, с высшим образованием и квартирой в центре города. Назовите мне еще кого-нибудь с такими данными! Я в общем-то удачлива! С квартирой мне, например, крупно повезло, до сих пор не верится. Когда я после окончания института пришла в первый раз в НИИ, совсем было духом пала: кругом старики да мымры, а те, кто помоложе, естественно, женаты или замужем. Поговорить по душам и то не с кем. Надумала было куда-нибудь на ударную стройку податься, да напомнили: отработай свои три года, потом, пожалуйста, хоть на все четыре стороны. Осталась, конечно, куда же де-

ваться? А через полгода институт получает однокомнатную квартиру, которую некому оказалось давать, кроме меня: все очередники от нее носы воротили, детей много — им двух-трехкомнатные подавай. Ну, мне как молодому специалисту и дали. Аж стон стоял по всему институту. Конечно, слухи разные поползли: где-то рука есть или в любовницах у высокого начальства ходит. Сразу я знаменитой стала, люди в нашу комнату из других отделов специально приходили посмотреть на меня.

А я ордер двумя пальцами взяла из рук начальника АХО, повертела его и спрашиваю так, будто каждый день квартиру получаю: «Надеюсь, этаж не первый? И мусоропровод есть? О телефоне не интересуюсь — это само собой». Он от такой наглости даже рот открыл, а присутствующие просто ошалели. Только мне что? Я же ни у кого ничего не просила. Дают, значит, положено. А раз положено — будьте добры, чтобы все было в порядке. И вообще удивляюсь, как другие в благодарностях рассыпаются, руки к сердцу прикладывают от избытка чувств. За что, спрашивается? В нашей стране квартиры всем дают. По очереди, правда, но это уже детали. И не какой-то там Иван Иванович — благодетель, а государство о своих гражданах беспокоится. Вот государству и надо спасибо говорить, а не Ивану Ивановичу, который мнит из себя черт знает что, руки ему теперь, что ли, целовать? «Ну ты, Газизова, даешь! — возмущается начальник АХО. — Хотя бы людей постеснялась!» — «Хорошие люди поймут, не сомневайтесь», — говорю я назидательно и гордо выхожу из кабинета, чтобы в коридоре, где никого нет, подпрыгнуть от радости до потолка. Пусть он обо мне думает, что хочет, — я меняться не собираюсь от того, что квартиру дали. По земле надо твердо ходить и голову высоко держать, я так считаю.

В квартире у меня идеальный порядок. Люблю, чтобы все вокруг блестело и сверкало, чтобы ни единой соринки нигде. Подруги, навещающие меня, удивляются: «Как ты все успеваешь? Я вот, например, уберусь, едва дух переведу, как детишки вверх тормашками весь мой порядок перевернут. А у тебя, как в музее».

«Вот именно — как в музее», — хочется сыронизировать мне, но я улыбаюсь, чтобы спрятать горечь: да бог ты мой! Я бы и глазом не моргнула, если бы... Только что о том говорить! Не только детей — порядочного поклонника рядом нет. Вертятся разные, в основном женатые, ко-

торым, видите ли, поразвлекаться захотелось, от семейных щей к люля-кебаб, как одна моя подруга выразилась, тянет. Тошно на их льстивые физиономии смотреть, их плоские комплименты выслушивать — неужели не понимают, что смешны и нелепы, что за версту от них пошлостью несет?

Не знаю, может быть, у меня какие-то завышенные претензии к мужчинам: красивый, смелый, высокий, воспитанный, умный. И чтоб на других не засматривался. И меня, конечно, любил. Сколько на пальцах отложилось? Семь. Семь качеств. Разве это много? Самый что ни на есть минимум. Так мне много лет назад мечталось — в пору моей юности, когда я запоем книги про любовь читала. Придумала себе какой-то особый мир, в котором пыталась о людях судить с помощью линейки. Да едва ли не все ребята, которые за мной тогда бегали, под эту линейку запросто бы прошли! Замечательные были парни! Взять хотя бы Сабира — и красивый, и умный, и рослый, и решительный. На втором или третьем свидании за плечи меня взял и к себе повернул. Ну, дала ему пощечину — не сильную, конечно, но звонкую. А он даже не моргнул, засмеялся и сказал, щеку потирая: «Это ты здорово придумала, Сария. Только я ведь не идиот. Если предостерегаешь — к сведению приму. Если руки тебе девать некуда — прости и прощай». — «Пошел ты, знаешь куда? — закричала я, давась от досады на себя. — Тоже мне, Сократ нашелся!» — «Понял, — сказал он, высоко поднимая брови. — И вопросов больше не имею. Только быть тебе, красавица, старой девой, помянешь мое слово».

Сама не знаю, зачем его ударила. Нравился он мне, сильно нравился, да и не нахал он вовсе какой-то был. Просто девчонки вокруг него увивались роем, любая бы за честь посчитала, если бы он на нее взглянул. Вот и привык... Только со мной такие штучки не проходят.

Локти потом кусаю, а не уступлю ни за что. Дура я, дура, скольких слез мне стоила та нелепая пощечина хорошему, в общем-то, парню! Стали меня ребята сторониться с тех пор. «Ангелочком» кто-то прозвал и словно ярлык повесил. Много времени ходила я со своей гордостью в полном одиночестве. А Сабир вскоре женился на моей однокурснице. И сейчас живут неподалеку. Сын у них растет, симпатичный такой карапуз с глазами и улыбкой Сабира. Хорошим мужем оказался мой неудачный поклонник. Способный инженер. Начальник участка на заво-

де. В газете читала о нем — что-то там такое изобрел невиданное.

Мы иногда встречаемся на улице. Прошлого не воросим, болтаем о разных пустяках, но в глазах его нет-нет да вижу какие-то прежние искорки. И тогда я обрываю разговор и бегу домой — поплакать, посожалеть, посетовать на свою судьбу, будто кто-то, а не я сама ее такой сделала. Плачу и думаю: а стал бы он со мной тем, кем стал? Трудный вопрос, что говорить! Может быть, стал, а может — нет. Человек и сам себе иногда боится правду сказать. Боится или не хочет? В такие минуты у меня все из рук падает — сколько чашек перебила, стыдно вспомнить...

Только что толку от наших переживаний, если мы мудреем умом, а души как были глупыми, так и остаются до конца, наверное, жизни. Незрячие они, что ли, или вообще не способны уроки извлекать из прошлых ошибок? Не случайно, должно, говорят, что брак по расчету — это когда по уму выходят замуж, а по любви — когда душами на одну ветку вспархивают.

На практике я познакомилась с Уралом, начальником отдела, в чье распоряжение поступила. Был он старше меня лет на пять. Не скажешь — красавец, и роста средненького, но чем-то заинтересовал, значит, если едва голову не потеряла.

Первая наша встреча вышла довольно забавной. Приехала я в Сибай в самое бабье лето — солнечно и прохладно, так, наверное, лишь у нас в горах и бывает. Иду по улице — в модном белом плаще, с новой прической, в туфлях с золотой пряжкой, раскрасневшаяся от свежего воздуха и всеобщего к себе внимания: мужчины встречные оборачиваются, женщины искоса поглядывают — что еще за краля такая к ним в город пожаловала?

В заводском отделе кадров меня как родную принимают, в два счета все дела устраивают и препровождают с полезными советами к кабинету начальника конструкторского отдела. Захожу, улыбаясь. За столом, но не там, где начальники обычно сидят, а сбоку, какой-то странный молодой человек с всклокоченными волосами, в черной кожаной куртке и в резиновых сапогах рассматривает чертеж. Я, конечно, здороваюсь и на стул, что рядом с дверью, сажусь. Думаю: начальник куда-то вышел, придется его подождать. Молодой человек на меня раз взглянул и снова в чертеж уткнулся, недовольно что-то пробурчав. Я по-

жала плечами и стала разглядывать кабинет — большой и уютный: на столе, на стульях — рулоны ватмана, а в углу стоит чертежная доска, и огрызок яблока к ней чем-то прищиплен. Чудно как-то, совсем не похоже на то, как представлялся мне кабинет конструктора, да еще руководителя. Так проходит пять, десять минут...

«Ну, что вам? — молодой человек вдруг поднимает свою мохнатую голову и смотрит на меня недовольно. — Сидите и молчите. Не за тем же сюда пришли...».

«Не за тем, конечно, — отвечаю ему небрежно. — Тем более что и смотреть здесь не на что. Разве вон на огрызок яблока...»

«Какой огрызок?» — хмурится он, оглядываясь.

Я показываю на чертежную доску.

«А-а! — усмехается он и снимает огрызок с доски. — Это наши ребята развлекаются. Протест свой таким образом выражают. Намекают на то, что у Ньютона яблоко было ненадкусанное...»

«Странные шутки», — говорю я, следя за тем, как он бросает огрызок мимо корзины.

«Почему? — удивляется он. — Мне, например, понятно, что они имеют в виду: надо уметь убеждать, а не прикалывать».

Теперь я догадываюсь, что это и есть начальник отдела.

«Извините, — я поднимаюсь со стула несколько сконфуженная. — Я думала, вы здесь тоже ждете...»

«Жду, конечно! — соглашается он. — Жду, когда эти оболтусы переоденутся и пойдут со мной на строительный участок»,

«Я не в том смысле...»

«А-а, вы меня не за того приняли, да? — догадывается он и улыбается широкой, обаятельной улыбкой. — Нет, я и есть начальник отдела. А вы кто?»

Так мы с ним познакомились.

Наверное, я ему нравилась. Однажды он даже проводил меня. Мы стояли рядом с общежитием, а изо всех окон на нас пялили глаза местные красавицы. «Смотрите, — сказала я весело. — Сейчас мне испепелят взглядами затылок!» Он вскинул глаза на окна и покачал головой. Я не поняла этого жеста. «Вы не согласны?» — «Ну, почему же, — удивился он. — Если у вас такие ощущения...» Ответ мне не понравился, и я решила, что он надо мной смеется. «До свидания, — сказала я. — Спасибо, что проводили». И ушла. А он какое-то мгновение еще стоял, смотря мне

вслед. Видимо, я, действительно, чего-то не поняла. Больше он меня не провожал. Три месяца мы встречались каждый день, разговаривали, шутили — он был демократичным руководителем и не любил работать в кабинете, но никогда больше я не видела его таким, каким он был в тот вечер, когда провожал меня до общежития. «Прощай, красавица. Будь счастлива!» — сказал он, когда мне пришло время уезжать. Он был в том же кожаном пиджаке, как в первый раз. «Почему «прощай»?» — хотела спросить я, но не спросила, потому что все было ясно.

И я почувствовала себя не обиженной, а оскорбленной. «Жаль, у меня нет с собой яблока!» — сказала я, лицемерно улыбаясь. Он ждал продолжения с легкой понимающей улыбкой на губах. И я не стала договаривать. Потом я много раз вспоминала эту дурацкую сцену и корила себя за высокомерие. Он был хорошим парнем, Урал. Может быть, лучшим из всех, кого я знала. И с ним нельзя было обращаться, как со всеми. Или мне не надо было носить туфли на высоких каблуках? Только какое это сейчас имеет значение, если вот уже два года, как мы расстались и ничего друг о друге не знаем? И вот сегодня я приглашена в гости, где меня моя подруга Разиля хочет с кем-то познакомить. Она так и сказала: «Хочу тебя познакомить. Что ты все одна да одна». — «Ты думаешь, я нуждаюсь в посредниках?» — спросила я с горькой иронией. «Думаю, думаю! — успокоила меня Разиля: она никогда не отличалась душевной тонкостью и тактом. — Я же не в постель тебя к нему толкаю. Познакомитесь, там разберетесь».

С Разилей мы учились в институте. Она давно уже замужем и теперь озабочена моим устройством. Женихов она ищет по своей схеме: чтобы был непьющим, некурящим, аккуратным, с высшим образованием и с перспективой на продвижение. И чтобы был чуть старше по возрасту. Таков ее идеал мужа. Внешность, по ее мнению, большого значения не имеет: «Они все одинаковы, — серьезно уверяет меня Разиля. — Что брюнеты, что блондины. Красивые и некрасивые. Самое ужасное, когда они начинают разбрасывать где попало тапочки. Или оставляют в раковине грязную посуду».

Она занимается этим увлеченно и основательно и держит меня в курсе своих хлопот. И если, по ее мнению, кандидатура подходящая, немедленно сообщает мне и фамилию, и имя, и профессию, начинает соображать, как лучше

устроить нашу встречу. Конечно, при этом обижается, когда я отказываюсь от ее женихов, упрекая меня в излишней разборчивости. Как будто я действительно разбираюсь! Просто меня всю воротит от сознания, что я должна с кем-то встречаться, зная, что и он знает, какая цель этой встречи. «Так кобылу к жеребцу водят», — взрываюсь я на увещевания Разили. Но она таких тонкостей не понимает. «Не строй, пожалуйста, из себя принцессу! — говорит Разиля. — Так ли, наоборот ли — суть не меняется».

Мы быстро миримся, потому что она все-таки права: каждая одинокая женщина мечтает познакомиться с хорошим, умным мужчиной. И какая, в сущности, разница, где это знакомство произойдет: на улице, в кинотеатре или в гостях? И если ее приглашают в дом, в котором среди других гостей будет неженатый человек, пользующийся хорошей репутацией, она никогда не упустит возможности принарядиться как следует, или «нафуфыриться», как мы между собой, женщинами, выражаемся в таких случаях. И душа должна быть готовой ко всем неожиданностям, которые нельзя предусмотреть заранее. В общем, если есть хоть какой-то шанс, только дура им не постарается воспользоваться.

Так я размышляю, думая о приглашении Разили посидеть-повеселиться в хорошей компании, в которой как бы случайно «окажется холостой-неженатый парень двадцати восьми лет от роду, между прочим, перспективный инженер». Не могла не съязвить, конечно, по поводу этой информации: «Чего же он раньше не женился? Такие вроде бы на улице не валяются?» На что Разиля только фыркнула в ответ: «Тебя, может, и ждал!»

Ну, ждал не ждал, мы это еще посмотрим! И я отбрасываю все свои сомнения и сажусь к зеркалу, чтобы привести себя в надлежащий вид.

Когда-то Сабир говорил, что мои глаза — озеро. Большие глаза, темные, с блеском, это правда. Лично мне тоже нравятся. Вот ресницы чуть-чуть подкачали по нынешним меркам: сейчас в моде — длинные, с загнутыми вверх краями. Правда, прежде искусственными ресницами не пользовалась, но раз их когда-то купила, значит, держала в уме, что пригодятся... Длинноваты вроде бы... Ну, это мы ножницами подровняем... Так! В самый раз. Моргаем, смотрим — обалдеть можно! Будь я на месте того неженатого, сразу бы влюбилась. И смотреть на него таинственно, чуть прищурившись, чтобы тени от ресниц на ще-

ки падали... Им, говорят, нравится такая таинственность. Теперь брови. Сохраняем прежний фасон — вразлет и крутой дугой. Подщиплем чуть-чуть (больно, но чего ради красоты не вытерпишь!), черным карандашиком подправим... Если он не упадет в обморок от такого лика, я ничего в мужчинах не понимаю!..

Осматриваю себя в зеркало со всех сторон — на свет, против света и т. п.

С платьями труднее — слишком большой выбор. Возьмем попроще, поэлегантнее, чтобы была полная гармония. Этот разрезик сбоку для пикантности — открывает ноги ровно настолько, насколько это необходимо в «ознакомительной» ситуации.

Такие вот маленькие женские хитрости.

В Англии вроде бы даже закон когда-то приняли против подкрашивания, искусственных волос, высоких каблуков... Считать брак недействительным, если мужчина женился, испытывая головокружение от женских духов?.. Смешно! Если бы у нас такой закон действовал, сколько бы женщин оказалось в девках до самой смерти, не говоря уже о разведенных... Слава богу, не додумались до этого!

Я еще покрутилась немного около зеркала, показала себе язык и отправилась в гости. Удачи тебе, красавица!

* * *

...Наконец объятия и поцелуи в прихожей закончились, Разиля внимательно меня оглядела, поцокала языком и повела в большую комнату, где я сразу увидела незнакомого парня, склонившегося над магнитофоном. «Здравствуйте! — сказала я, останавливаясь на пороге, но Разиля продолжала подталкивать меня вперед, словно я тут же должна была пасть парню в объятия. Она так лукаво улыбалась, подмигивая нам обоим одновременно, что о якобы случайной встрече и речи не могло идти: он, конечно, тоже был обо всем предупрежден и теперь пытается изображать на своем лице приятное изумление. Я готова была сквозь землю провалиться, но постаралась как можно незаметнее освободить свою руку из ласково-настойчивых пальцев Разили.

— Вот знакомьтесь: Амир, Сария, — сказала она весело.

Мы церемонно поклонились. Что дальше? Дальше — неловкая пауза, когда не известно, что делать. Не рассматривать же друг друга, так сказать, взаимно примериваясь

и оценивая. Вижу — высок, недурен, взгляд в общем-то глуповат, но это, наверное, от неловкости: тоже не знает, куда девать руки и куда лучше смотреть. «Ну соображай быстрее, начинай разговор какой-нибудь! — мысленно тороплю его, изнывая от затянувшегося молчания. — Что за мужчины пошли?» Читать мысли на расстоянии он определенно не умеет, поэтому я отворачиваюсь от него и деланно-озабоченным голосом спрашиваю у Разили:

— Давай я тебе на кухне пока помогу!

Разиля открывает рот, чтобы возразить, но я так выразительно на нее смотрю, что она все свои слова сразу проглатывает.

— Вы пока здесь поскучайте, а мы с Сарией посмотрим, что там на кухне, — говорит она скороговоркой. И мы уходим на кухню.

— Ты чего? — шепчет она, прикрыв дверь. — Не понравился, что ли?

— А он не глухонемой? — огрызаюсь я, злясь и на нее, и на себя.

— Что ты! Говорю — инженер. Неженатый. Идеальный жених.

— Алиментщик, наверное...

Разиля смотрит на меня, округляя глаза, потом крутит пальцем у виска:

— Опять за своё, да?

— Ну, ладно, я это так. На всякий случай, — говорю я и оглядываю кухню. Удивительно, но тут сегодня полный порядок. — С чего начнем?

— Ни с чего. У меня все готово. Иди лучше развлекай своего... Кстати, у тебя будет, наверное, соперница.

— Да? — спрашиваю я равнодушно.

— Товарищ Разида должен привести сестренку, — поясняет Разиля чуть смущенно. — Но она птенчик совсем — не то двадцать, не то двадцать два...

— Ничего себе — птенчик! — усмехаюсь я. Все это мне, конечно, не нравится: и то, что ей двадцать два, и то, что нас обеих, видать, решили познакомить с одним кандидатом в женихи. Ему будет из чего выбирать, только зачем мне это надо?

— Тогда я — пас! — заявляю я решительно. — Драться за жениха не собираюсь. Заранее уступаю птенчику. Давай мне фартук — буду носить, кормить, мыть посуду, ухаживать, развлекать. Твоих гостей.

— Брось валять дурака! — сердито говорит Разиля. —

И если ты сейчас же отсюда, из кухни, не выкачишься, я тебя больше знать не хочу! Поняла?

Вот теперь она обижается по-настоящему, и я понимаю и выкатываюсь снова в большую комнату, где Амир все в той же позе человека, который первый раз в жизни увидел магнитофон.

— Не играет? — спрашиваю я деловито, усаживаясь в кресло у журнального столика.

— Не знаю, куда тут нажимать... — бормочет он, поднимая на меня глаза.

Господи, и это инженер?!

Я протягиваю руку и нажимаю на кнопку. Раздается жуткий вопль, потом скрежет, дребезжание, стук — и сразу обвалом триста шестьдесят нот... Амир ошарашенно смотрит на меня, я — на него, из кухни выскакивает Разиля и выдергивает штепсель из розетки.

— Думала, взорвался! — говорит она, переводя дыхание.

Мы смеемся. Потом я нахожу регулятор громкости, снова нажимаю на кнопку и выдаю заинтересованным людям вполне приличную порцию децибелов.

— А-а! — узнает Разиля. — Это «Машина времени».

— По вашей части, значит, — обращаюсь я к Амиру. — Вы же, кажется, инженер?

— Да, но... — начинает он смущенно.

— Да или но? — смеюсь я.

— Да — инженер, но не по части музыки, — улыбается он, и его улыбка мне нравится. Слава богу, нашелся, а то бы не на кухню я ушла, а совсем: терпеть не могу мямлей. Ладно, дорогой жених, я тебе еще немного помогу, но потом уж сам находи тему для разговора!

— А как по части времени?

— Всегда не хватает пяти минут для настоящей жизни, — отвечает он многозначительно.

Я обдумываю ответ и нахожу его на троечку: мог бы сказать что-нибудь и поостроумнее.

И снова молчание.

Кресло не очень удобное для сидения в моем элегантном платье. Я меняю позу, но тут замечаю, что разрез, как ему и положено, распахивается. Конечно, ничего в этом неприличного нет, однако фривольность пока ни к чему: я играю роль неробкой, но сдержанной интеллектуальной девушки. Конечно, это слово кого-нибудь может покоробить, но разве не правда, что все мы в жизни подстраива-

емя под ту или иную ситуацию: встречаясь со знакомыми людьми, радостно улыбаемся, хотя никакой особой радости не испытываем; зная о человеке, что он тебя терпеть не может, разговариваем с ним вежливо и предупредительно; на душе у тебя кошки скребут, а ты стараешься показать себя счастливой и беззаботной.

Пусть мне докажут, что это не так! И если бы Амир оказался другим человеком, я бы тоже, наверное, не сидела сейчас в позе святоши и не думала о разрезе на платье, который для того и сделан, чтобы подчеркивать стройность и красоту линии твоих ног.

— Вам нравится музыка? — спрашивает Амир наконец. Ну и вопросик после десяти — пятнадцати минут скорбного молчания! Сказать — «нравится» — он тут же спросит: а что именно, и тогда буду вынуждена говорить я. Сказать — «нет», он может понять это как нежелание продолжать разговор с ним: «нет» вообще очень неудобное слово в общении с незнакомым человеком, есть в нем что-то оскорбляющее слух. Но пока я размышляю так, магнитофон смолкает, и через короткую паузу звучит уже другая музыка — медленная, спокойная, лиричная...

— Вот эта мне нравится больше, — говорю я. — Под нее хорошо танцевать.

— Может, потанцуем? — предлагает неожиданно он. Ого, кажется, он не так уж и робок, как показалось!

— Одни? Сейчас?

— А почему бы и нет?

Действительно, почему нет? Я протягиваю руку, он принимает ее, помогая мне встать из кресла. И мы танцуем. Я чувствую его руку на своей талии — уверенная, твердая, горячая рука мужчины. Он значительно выше меня, и это приятно — не люблю, когда дышат в лицо. Чувствую, он давно не танцевал, но, слава богу, на ноги не наступает, к себе не прижимает, держится свободно и непринужденно. Что ни говори, танцы хотя и безделушка, конечно, а позволяют незнакомым людям узнать друг о друге что-то и помимо слов.

— Почему я вас раньше не встречал? — спрашивает он с улыбкой, смотря мне в глаза. Это уже звучит почти как комплимент. Жаль, что он его тут же портит. — Я имею в виду, — поясняет он, — что мы с вами работаем на родственных предприятиях и занимаемся почти одним и тем же делом.

— Вам нравится? — интересуюсь я.

— В общем, да. Хотя, конечно, хотелось бы делать чисто конструкторскую работу.

— И что вам мешает?

— Это длинный разговор, — говорит он задумчиво и снимает с моей талии руку, хотя музыка еще не кончилась. Мы садимся в кресла у журнального столика, и я делаю сразу внимательное лицо, как бы страшно заинтересованная его мыслями о конструкторской работе. И конечно, попадаю в точку! Он начинает рассказывать с таким азартом, что я мгновенно теряю нить его рассуждений. Показать этого нельзя, поэтому я время от времени задаю вопросы, он отвечает на них и тут же вновь возвращается к своей теме. Кроме того, естественно, не отрываю от него восхищенных глаз.

— Вы очень интересный собеседник! — говорю я, бросая на него лучистый взгляд из-под полуопущенных ресниц. После этих слов и такого взгляда ему ничего больше не остается, как поцеловать мне руку. Увы, он польщен, он улыбается... и снова обращает свой взор на спасительный магнитофон. Итак, первый раунд окончен, думаю я, подведем некоторые итоги: умом особым не блещет, не очень находчив, собой заинтересовать не умеет, светским манерам не обучен, опыта общения с женщинами не имеет, легко смущается, временами даже робок... Не лидер, нет, скорее — ведомый. В общем, по сегодняшним меркам, вполне зауряден. Но что-то в нем есть привлекательное и как кандидат в женихи может рассматриваться несомненно. «А ты циник, Сария!» — говорю я себе без удовольствия, потому что ничего хорошего в таком анализе нет. И если он тоже сейчас разбирает мои достоинства и недостатки, загибая при этом пальцы, мы друг друга стоим. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события дальше.

Кто это мне говорил, что мужчины не любят женщин трех типов: сильнее себя, умнее себя и выше себя? Вот из этого и будем исходить.

...Хозяйка приглашает гостей к столу, начинается обычная в таких случаях суматоха. Я выскальзываю в кухню, чтобы помочь Разиле. «Ну как?» — спрашивает она игриво, я пожимаю в ответ плечами: «Нормально». — «Понравился?» — «Понравился!» — уклоняюсь я от подробностей. «А ты ему?» Как ответить на этот дурацкий вопрос? «Важно, что он мне понравился!» — говорю я и смеюсь. «Смотри! — предупреждает Разиля и грозит мне пальцем, измазанным в сметане. — Разглядела свою соперницу?» Я ее,

конечно, разглядела: молоденькая, розовенькая, тоненькая. «Ничего особенного, — говорю я. — Глазки на ножках». — «Не скажи! — язвит Разиля. — Мой Рашид и тот хвостом завилял. Видела, никакой штукатурки на лице?»

Что поделаешь, юность есть юность. И я когда-то обходилась без грима, только что теперь о том вспоминать! «Но ноги у нее кривые!» — шепчу я на ухо Разиле, пропуская ее вперед себя.

Места за столом все заняты, нам с Разилей оставили один уголок на двоих. Я не суеверная, но, честно говоря, настроение у меня сразу портится. Тем более что вижу Амира рядом с этим птенчиком. Сами так сели или случайно получилось? Встречаюсь с ним взглядом, но тут же отвожу глаза в сторону и склоняюсь над тарелкой. Справа от меня сидит Рашид, муж Разили. Он пытается ухаживать за нами обеими, одновременно разговаривая со своим соседом, угрюмым парнем, чем-то похожим на артиста Рыбникова. «Рашидик! — говорю я ему тихо. — Отодвинься, пожалуйста, ты горячий, как батарея». Он послушно отодвигается, даже не поняв, что я ему сказала. Но через минуту я уже снова чувствую его горячий бок и острый локоть, который не дает мне возможности поднять руку с вилкой. И я раздражаюсь, потому что все разговаривают друг с другом, разбившись на пары, и мы с Разилей сидим, как клуши, у угла стола, никому не нужные.

Птенчик, полуоткрыв ротик, слушает Амира, а тот что-то ей негромко рассказывает — я вижу только его затылок. Чем это он ее, интересно, так увлек? Со мной полчаса разговориться не мог, а тут, едва познакомившись, рта не закрывает. «Не надо было тебе торчать на кухне, — шепчет мне Разиля, кося глазом на них. — Я предупреждала!»

— Предлагаю тост за наших любимых женщин! — вдруг говорит Рашид и встает. За ним начинают вставать другие мужчины, неловко сгибаясь над столом. Амир наконец поворачивается ко мне лицом и слегка наклоняет в мою сторону бокал. Я отвечаю, опуская ресницы, и пригубляю сладкое вино. Не густо, но кое-что уже, говорю я себе, отмечая, что жест Амира не прошел бесследно ни для птенчика, ни для Разили: птенчик розовеет и утыкается в свою тарелку, а Разиля облегченно вздыхает и многозначительно смотрит на меня. Чудачка! Она и впрямь озабочена своим сватовством и болеет за меня.

Самое интересное началось потом, когда гости, насытившись, потребовали перерыва.

Я ухожу на кухню помогать Разиле готовить чай. Из комнаты доносится музыка. «Иди потанцуй!» — говорит мне Разиля. «С кем?» — наивно спрашиваю я. «А Амир? — улыбается она. — Вы уже, кажется, примеривались...» — «А птенчик? — улыбаюсь ответно я. — Они тоже хорошо ворковали». — «Все-таки ты язва, Сария, — замечает Разиля. — Далась тебе эта девчонка. Он же на тебя глаз положил». — «Фи, как грубо!» — фыркаю я, не желая спорить.

Мне очень хочется заглянуть в комнату — посмотреть, что там происходит, но я продолжаю играть роль заботливой помощницы хозяйки. Если я правильно поняла взгляд Амира, он должен скоро здесь появиться и пригласить меня потанцевать.

— Можно вас пригласить потанцевать? — раздается голос Амира, и я, смеясь про себя, вскидываю на него один из лучших своих взглядов, в котором и легкое удивление, и радость, и недоумение, и безразличие — все разом. Но для человека, умеющего читать женские взгляды.

— Иди, иди! — говорит торопливо Разиля, выхватывая из моих рук чашку. — Вы, Амир, — обращается она к нему, — вообще не выпускайте ее из комнаты. Я тут и без нее обойдусь.

— Постараюсь! — отвечает Амир с улыбкой. Нет, ни черта он не умеет читать женских взглядов! Ладно, посмотрим, как ты будешь меня задерживать...

Мы входим в комнату, как свадебная пара, к самому началу мелодии. Танго. Мой любимый танец — спокойный, медленный, раздумчивый, дающий возможность тихо разговаривать с партнером на разные темы. И смотреть в глаза друг другу...

Птенчик сидит у журнального столика и листает журнал «Здоровье». Ничего, это ей полезно: там интересная статья о лечении стрессов.

— Вы любите танго? — спрашивает Амир проникновенным голосом ведущего музыкальной викторины.

— Не задумывалась, — отвечаю я лаконично.

— Да? — удивляется он. И лицо у него сразу становится беззащитным, как у ребенка. «О чем же все-таки он разговаривал с птенчиком», — крутится у меня в голове!

Птенчик делает вид, что увлечена журналом — ни разу не повернула голову в нашу сторону. Крошка ты моя, куда естественнее было бы тебе смотреть на танцующих с доброй поощряющей улыбкой, чтоб никто не видел, как в душе твоей кошки скребут... Проигрывать тоже надо уметь!

— Какая очаровательная девушка, — говорю я без всякого выражения, показывая глазами на птенчика. — У нее очень интеллектуальное лицо.

— Да, конечно, — соглашается он, — Она серьезно интересуется музыкой.

— А вы? — вкрадчиво спрашиваю я.

— Увы! — улыбается он. — Мне было ужасно стыдно, но я не знал ни одной пластинки, которую она называла.

Значит, они говорили о музыке и пластинках! Ну что ж! Теперь я понимаю, почему он сидел ко мне затылком — ему надо было объяснить, что он инженер и в музыке ничего не смыслит. Видимо, она отнеслась к этому с пониманием...

— А как насчет пяти минут для настоящей жизни? — лукаво интересуюсь я.

— Вы мне подарили их сейчас, — он чуть напрягает руку, лежащую на моей талии.

Вот это ответ! Не ожидала, что говорит! Я опускаю ресницы, как бы смущенная столь откровенным комплиментом. Теперь надо уходить. Именно теперь, когда так хочется и танцевать, и разговаривать, и вообще делать маленькие глупости, столь простительные для хорошенькой женщины, узнавшей, что она нравится.

— К сожалению, мне пора, — говорю я, когда танго заканчивается. — Благодарю вас.

У него хватает ума не спрашивать, что и почему. Он идет со мной в прихожую, снимает с крючка вешалки плащ и неожиданно предлагает:

— Хотите, я вас провожу?

Я пожимаю плечами: а почему нет? Или — как сочтете нужным? Или даже: зачем об этом спрашивать? Вот сколько разных оттенков в простом движении на выбор для умного человека. Какое же он уловил? Надеюсь, последнее. Тогда я его совсем зауважаю.

— Можно у вас полюбопытствовать? — говорю я, когда мы идем по улице и наши тени от света раскачивающихся фонарей то убегают далеко вперед, то тащатся позади.

— Конечно, Сария!

— Когда вы предложили... — начинаю я медленно, как бы подбирая слова. — Ну, там, в прихожей, а я... Что вы подумали?

Он внимательно слушает, наклонив голову набок, потом смущенно смеется:

— О таких вещах не спрашивают! Вы знаете, когда я с вами разговариваю, у меня как-то получается невпопад. Даже странно!

— Вы преувеличиваете, — успокаиваю я его. — Просто мы еще мало знакомы. — То есть тут я ему даю такую зацепку, что любой другой на его месте уже не преминул бы объяснить. «Ну, ну, дорогой кандидат! — тороплю я его мысленно. — Спрашивай номер телефона, назначай свидание на завтра, предлагай гулять до утра!»

— Наверное, вы правы! — грустно признает он, и мы останавливаемся у подъезда моего дома. Мгновение еще медлю — может, сообразит наконец? Но он впал в мировую скорбь...

— Спасибо, что проводили. До свидания! — говорю я деловито, поворачиваюсь и быстро вхожу в подъезд. На втором этаже я встаю на цыпочки и осторожно смотрю через подоконник в мутное стекло: там он еще или нет? Или побежал перехватывать птенчика, которая, наверное, уже прочитала журнал «Здоровье»?

Там. Итак, я сделала все, что могла. Теперь от меня уже ничего не зависит. Надо ждать!

Утром Разиля потребовала у меня полного отчета о том, что да как. Я не стала распространяться: не люблю выворачивать душу наизнанку даже близким людям. К тому же настроение было паршивое, и не знаю — отчего. Все-таки есть что-то унижительное в этой игре, когда ты ловишь другого на ошибках: голова работает, как ЭВМ, а сердце молчит... Безумства вдруг захотелось, чтобы страсти — в ключья, чтобы — как в омут с головой! Чтоб кто-то взял тебя за руку, сказал — «пошли!», и ты идешь, не думая куда, зачем, что с тобой будет. Амир? Его самого надо вести, как телка на веревочке.

— Правда, хороший парень? — говорит Разиля, вздыхая в трубку.

— Угу! — откликаюсь я. — А как там птенчик?

— Какой птенчик? — недоумевает Разиля. — А-а, они вскоре ушли. Рашид хотел их проводить, но я не пустила.

— Блудешь?

— А как же! — строжает Разиля. — За мужиками глаза да глаз... Твой-то хоть телефон знает?

— Не-а! — лениво откликаюсь я. — Захочет — найдет.

— Ну, ты даешь! — восторгается она, — А если не захочет? Или не найдет?

— Тогда я отобью у тебя Рашида, — говорю я сердито и заканчиваю разговор: — У меня молоко кипит, извини!

Самый удобный повод прервать телефонную беседу — сослаться на кипящее молоко. Даже настырный человек заткнется в ту же секунду...

Конечно, мне не безразлично — захочет не захочет, найдет не найдет? Уж если столько энергии затрачено на то, чтобы... Ну, в общем, понятно! Что будет искать, я была почти уверена, или я ничего не смыслю в мужчинах. Вопрос только в том, как быстро он обнаружится: если сегодня же — значит, «ура!», все было сделано правильно. Значит, я еще чего-то в этом мире стою...

Он позвонил во второй половине дня,

— Сария?

— Да?

— Это Амир. Еле вас нашел...

— Неужели такое трудное дело?

— Нет, конечно, но...

— Нет или но? — смеюсь я, напоминая о первом нашем разговоре.

— Я очень ругал себя, что не спросил у вас номера телефона, — говорит он серьезно. — Просто дурак какой-то!

— Но все же в конце концов обошлось? — мягко успокаиваю я его.

— К счастью... Я хочу вас видеть, Сария!

Я молчу. Просто дышу в трубку и молчу.

— Сария? Вы слышите меня?

— Да... — откликаюсь я. — Сейчас это невозможно, К сожалению...

Это слово я добавляю после небольшой паузы, чтобы выделить его особо.

— До свидания! — Я кладу трубку, но через несколько секунд опять звонок.

— Да?

— Извините, Сария! — говорит Амир. — Я же не знаю вашего домашнего телефона!

— Ну, это так просто, — смеюсь я. — 09. Там все обо всех знают.

И даю отбой. Пусть не думает, что я задохнулась от радости. Он должен еще дозреть. Все, что легко дается, легко же и теряется. Я знаю по себе. Ему все-таки уже двадцать восемь: в эти годы мужчины должны быть посообразительнее...

Неделю мы разговариваем с ним каждый день по те-

лефону. Он звонит и на работу, и домой. Мы болтаем о разных пустяках, но от свиданий я под разными предлогами уклоняюсь. Удивительно, как просто они придумываются — как бы сами по себе в голове возникают. «Зачем? — ужасается Разиля, — Зачем это тебе надо? Что особенного — встретиться с парнем, сходить с ним в кино, театр, погулять по улицам? Нет, ты какая-то сумасшедшая: парень места себе не находит, а тебе хоть бы что! Не нравится если, оставь его в покое. Нельзя же так бесчеловечно!»

Но я и сама не знаю уже, зачем все это делаю. Нашел какой-то каприз: жду звонка, переживаю, если задерживается, радуюсь, когда слышу голос Амира, говорю с ним весело, а как только он начинает заводить речь о встрече, придумываю отговорку. Наконец он не выдерживает.

— В конце концов это смешно! — говорит он, и я впервые ощущаю в его голосе досаду и раздражение. — Жду вас сегодня в восемь вечера. У почтамта. Все, до свидания!

Я слушаю гудки в телефонной трубке, словно это самые лучшие, самые красивые звуки в мире.

2

Говорят, за все в жизни надо платить. Не знаю — за все ли, но что платить приходится — увы, это так.

Брак по любви, брак по расчету...

Где тут пролегает грань, кто может сказать? И когда одно переливается в другое, становится иным?

И что такое вообще любовь? С этого вопроса и надо, наверное, начинать, только кто тебе на него ответит? Игра? Пусть, но до какой поры — игра, а после какой — жизнь?

Когда уловленный тобою в тщательно расставленные сети человек из жертвы вдруг сам превращается в охотника — и теперь уже ты бьешься пойманной птицей в силках?

Минуло полгода, как мы поженились.

Мы были счастливы. Точнее, наверное, не скажешь. Не знаю, какой я смотрелась со стороны. И не знаю, каким со стороны виделся Амир.

Какое это имело значение, если нам никто не был нужен? Если мы никого, кроме себя, не видели?

Иногда мне казалось, что все это происходит во сне, и тогда рождались очень странные мысли,

Ну, например, что я — вообще не я, а кто-то другая, Амир — не мой, не муж мне. И я люблюсь им и страшно завидую той, с которой он вместе, которую он любит. Нет, это невозможно объяснить без того, чтобы не наговорить глупостей!

Потом словно туман начал редеть. И я вдруг увидела, как много вокруг нас людей. И некоторым из них очень хочется влезть в нашу жизнь. Может, у меня вид тогда был такой, что вызвал у моих знакомых страстное желание поговорить, предостеречь, поучить?

«Бери мужа сразу на поводок, да покороче! — слышу проникновенную речь одной. — Никаких задержек после работы, никаких встреч с друзьями без тебя... Не заметишь, как привыкнет к вольной жизни!»

«И я тоже поначалу сквозь пальцы на все смотрела, — вторит ей другая. — Ну, задержался, ну, выпил. Молчу, обижаюсь, прощаю. А он, видимо, решил, что теперь все можно. Однажды заявляется домой утром. «Где был?» — «В пульку с друзьями заигрались». — «Ах, заигрались!» Тут я ему такую пульку показала, что у него глаза на лоб полезли... Быстро в норму привела. Сейчас в магазин сходить и то отпрашивается!»

«А я вообще считаю, что профилактики ради их почаще ругать надо, — утверждает третья. — Виноват, не виноват — поругай! Пусть знает, что ты глаз с него не спускаешь: все насквозь видишь, мысли его прочитываешь! Пусть ходит и оглядывается!»

Много чего нарасказали разные женщины, спеша раскрыть мне глаза на трудности семейной жизни. Смешно, конечно, все это было слушать: поводок, ругань, скандалы...

Ради чего, спрашивается, люди ищут друг друга, мучаются в разлуке, тоскуют, прежде чем соединиться, стать одним неразделимым целым?

Это когда по любви. А когда по-другому, ну, вот, как у меня, скажем: познакомили, свели, а я уже потом постаралась, чтоб удержать...

С трезвой головой и спокойным сердцем выходила я замуж, испытывая удовлетворение от того, что — сумела, добилась своего, что я тоже получила, нет, не получила — добыла! — положенный мне жизнью кусочек счастья.

Вот как ужасно это звучит, когда называешь вещи своими словами! Может, кого-то и покоробит, только ведь суть не изменится, если я иначе скажу.

Самому себе человек должен говорить правду. Всегда. Потому что другим он ее редко говорит и те, другие, ему — тоже.

Да, я хотела выйти замуж. И искала — за кого. И когда нашла, сделала все, чтобы он — именно он! — стал моим мужем. Я ему не навязывалась, боже упаси! Напротив, он долго вокруг меня, как вокруг горячей плиты, ходил, боясь прикоснуться. И мы не часто встречались. Я уже рассказывала, как он звонил и как я находила предлоги, чтобы отложить свидание. Кино, театр, прогулки — это, пожалуйста. Но порог моего дома он переступил только тогда, когда все главные слова уже были сказаны.

Не я упала в его объятия, он — в мои.

Вот в чем особенность моего романа.

Я видела, что он меня любит, но хотела, чтобы любил еще сильнее.

Чтобы голову потерял.

Чтобы я ему стала как награда за беззаветную, безрассудную любовь. Ничего не стоит то, что нам достается легко и просто!

Я ему досталась трудно.

Он ведь был уже не мальчик — взрослый, вполне сформировавшийся человек со своими взглядами на жизнь.

И такой он меня устраивал. И нравился — такой. И играла я до той минуты, пока не почувствовала сама, что и меня к нему тянет. Что, если он уйдет, мне будет плохо.

Когда однажды он на несколько дней вдруг пропал, я чуть не умерла от страха. Места себе не находила. Оказывается, его отправили в срочную командировку и он не успел меня предупредить. «Чтоб это было в последний раз так, хорошо? — сказала я ему. — Ты можешь уходить, уезжать, куда тебе необходимо и насколько необходимо, но — предупреждай. Я все-таки живой человек. И лишнего беспокойства мне не нужно».

В этот вечер он и сделал мне предложение, а я его приняла.

И мы стали жить вместе. И было счастье, и был туман, и было ощущение, что мы — одни на всем белом свете и никто нам не нужен.

Так что не говорите мне, пожалуйста, о том, что брак по любви — это хорошо, а по расчету — плохо.

Вы знаете, что такое любовь? Нет? Ну, вот и я не знаю. Может, она — всего лишь наше ожидание какого-то чуда?

Разве не чудо, когда люди, вчера еще чужие друг дру-

гу, в какой-то миг сливаются душой в одно, единое, неразрываемое, а мгновение становится вечностью, и наоборот?

Есть вещи, о которых не следует говорить вслух. Ведь если не оберегать некоторые тайны жизни от излишне любопытствующих взглядов, ничего не останется для воображения. И все мы утонем в цинизме.

— Ну, как у вас? — шепотом спрашивает у меня Разиля.

Я понимаю, что она имеет в виду. Видимо, приняв такое деятельное участие в моей судьбе, она считает, что я должна ей теперь все рассказывать.

— Что ты имеешь в виду? — холодно интересуюсь я.

— Ну, как он? — теряется Разиля. — Внимательный, ласковый?

— И внимательный, и ласковый! — подтверждаю я, усмехаясь про себя этим наивным словам. — Тебя, наверное, волнует, какой он в постели, да?

Я нарочно говорю так прямо, чтобы сразу отбить у нее охоту лезть в мою жизнь. Какого черта, в самом деле? Я же у нее никогда не спрашивала о таких вещах, хотя мы — близкие подружки. И до замужества тоже избегала этих тем.

— Ты невозможная, Сария! — обижается она. — Колючая, как не знаю кто!

Пусть обижается, зато больше не будет задавать идиотских вопросов! Я в советчиках такого рода не нуждаюсь. Спасибо, что с Амиром познакомила. Что беспокоилась. Но теперь за меня волноваться не надо. И жить учить не надо. Я не птенчик, которая тогда с носом осталась. Кстати, интересно, как она там?

— А как птенчик наш? — спрашиваю я.

— Какой птенчик? — удивляется Разиля. — А-а... Видела ее недавно на улице. Веселая! Такой, знаешь, розовый бутончик!

— Птенчик, бутончик... — смеюсь я. — Неужели и мы были когда-то такими?

И мне становится грустно, потому что мы такими были — веселыми, беззаботными, неунывающими! Когда и беда не беда и все — впереди...

Жизнь в нашем доме течет нормально. Утром вместе идем на работу, вечером в одно и то же время возвращаемся, ужинаем, смотрим телевизор, разговариваем, ходим в гости к друзьям, принимаем у себя друзей.

Что об этом рассказывать? У всех одинаково в общем-то

семейная жизнь складывается — из похожих забот, радостей, огорчений. Люди постепенно привыкают друг к другу, начинают не замечать того, что раньше бросалось в глаза...

— Что ты все время ходишь в этих бигудях? — недовольно ворчит Амир.

— А где мне прической заниматься, как не дома? И не вечером? — возражаю я.

— Значит, ты считаешь, что твои сослуживцы должны видеть тебя с красивой прической, а я — в этих железках? — усмехается он.

Я пожимаю плечами: бессмысленный какой-то спор! Это же естественно, что человек приводит себя в порядок перед тем, как выходить на люди. Конечно, лучше, если у него есть возможность заниматься этим наедине, но где спрятаться в однокомнатной квартире? Не сидеть же несколько часов в ванной комнате? Тут уж ничего не поделаешь — надо мириться с некоторыми неудобствами совместной жизни, когда весь ты — на виду, со всеми своими достоинствами и недостатками. Амир тоже не ангел. Есть у него привычки, которые меня раздражают. Ну, например, в хозяйственных делах ничего не смысля, вдруг начинает учить, как надо жарить картошку. Накрывать сковородку крышкой или не закрывать?

На эту тему мы однажды с ним минут десять спорили, пока я в раздражении все с этой сковороды в мусорное ведро не вывалила. Поставила перед ним кружку с молоком, положила кусок хлеба и сказала нежно: «Ешь природные продукты и в следующий раз не капризничай. Я все-таки какая-никакая, а баба, а ты, какой-никакой, мужик. И если хочешь готовить ужин сам и по-своему, я с удовольствием тебе такую возможность предоставлю. И буду есть, не спрашивая, накрывал ты сковородку крышкой или не накрывал. Договорились?»

Вот такой у нас разговор получился, и он его хорошо запомнил. И я запомнила. Как миленький ел все, что я готовила, и больше носа ни в кастрюли, ни в сковородки не совал. Обиделся, конечно. Только я думаю, лучше сразу все точки над «и» ставить. Проще жигь, когда знаешь, что одному не нравится, а другой от этого же — в восторге. Что кто умеет, а что — нет. И если не умеешь — не берись. Соседа попроси помочь, пригласи за деньги кого. А то взялся однажды Амир крючок к потолку прилаживать, чтобы люстру новую подвесить. И конечно, разбил ее вдребезги,

потому что никогда прежде, как я поняла, молотка в руках не держал, хотя и инженер.

— Какого черта! — сказала я мягко. — Какого черта ты берешься за дело, в котором ничего не смыслишь? Сто пятьдесят рублей, конечно, для нас не деньги, как ты понимаешь, но все-таки... Кстати, до зарплаты три дня, а у меня остался рупь...

Да разве обо всем расскажешь?

Дочери нашей уже годика два было, когда стал Амир на работе задерживаться. В шахматы, видите ли, играл с приятелями. «А у вас там вместо ферзей да королей стаканчики с водкой, да?» — интересуюсь я. «Да нет, — отвечает, — нормальные шахматы, просто иногда скидываемся по рублику, кто-нибудь в магазин сбегает, ну и...» — «Понятно, — говорю я. — Вот это «ну и...» особенно интригует. В следующий раз оставайся там, в отделе своем, ночевать. Потому что с пьяным с тобой говорить не о чем, а дочери смотреть на тебя такого — незачем. Договорились?»

Только, видно, поздно уже было договариваться. Некоторое время он держался, но потом снова все стало по-прежнему. Я оставила свой иронический тон и взялась за него по-настоящему. Боже, если бы кто видел меня в эти минуты, если бы слышал, какие слова слетали с моего языка! Уму непостижимо, где я их набралась?

Год борьбы закончился тем, что он все чаще стал ночевать где-то на стороне, а появившись, не утруждал себя никакими объяснениями. И в глазах его появилось упрямое, злое выражение, которое меня просто пугало, казалось, он был способен на все.

И я поняла, что проиграла. Почему? Как ответить на этот вопрос, если миллионы людей, потерявших и теряющих свой семейный очаг, не могут толком объяснить, с чего именно у них все началось. Когда большая, горячая любовь Амира начала остывать, когда мое робкое, теплое чувство, родившееся в первый месяц близости, исчезло невесть куда? С какой ссоры, с какого движения, с какого слова колыхнулся воздвигнутый нами обоими храм, чтобы рухнуть в одночасье?

Не знаю.

Шла я как-то, задумавшись, по улице, когда меня окликнула дальняя родственница. Мы редко встречались, но она была на нашей свадьбе, и Амир ей очень понравился.

— Ну, купили штору? — спросила она, улыбаясь.

— Какую штору? — удивилась я.

— Как какую? — в свою очередь удивилась родственница. — Амир рассказывал — финскую или югославскую. Прибежал, дай, говорит, займы, а то раскупят. Пятьдесят рублей было у меня, я и отдала.

— Когда прибежал?

— Да с месяц назад... Он что, не говорил тебе?

— А разве не отдал? — Я уже все поняла. Мне было стыдно и я пыталась теперь как-то вывернуться из этой неловкости: ей-то зачем знать, что муж мой тайком от меня занимает деньги? — Я и забыла уже... И не спросила — отдал, не отдал долг...

— Да ладно! — махнула она рукой. — Мне не к спеху. Не купили, значит?

— Не досталось... Так жаль — хорошая финская штора! — сказала я как можно более беспечно. И поспешила уйти, чтобы она ничего в моих глазах не прочитала.

Это был конец.

Мы расстались. После пощечины, которую он мне закатил в ответ на мои резкие слова. Я ее даже не почувствовала. Не боль, а отвращение — вот что я испытала. Отвращение, как ненависть. Так, наверное, будет точнее сказать. Широко распахнув двери, я выбросила в коридор его чемодан с вещами и сказала: «Уходи и больше никогда не переступай этого порога!»

И он ушел, не оборачиваясь. Моя соседка, о которой я уже рассказывала, злорадно покачивала головой, высунув ее из своей комнаты. Она была довольна. Нет, она была, наверное, счастлива.

Первый раз в своей жизни счастлива по-настоящему,

* * *

Я стою и смотрю в окно.

Тусклые тучи плывут над моим городом. Моросит дождь. Как и тогда, много лет назад. И я стою там же и так же смотрю в окно. Словно и не было ничего. Просто прошло время. Но это не правда. Я уже давно не та, что была когда-то. И мысли мои не те.

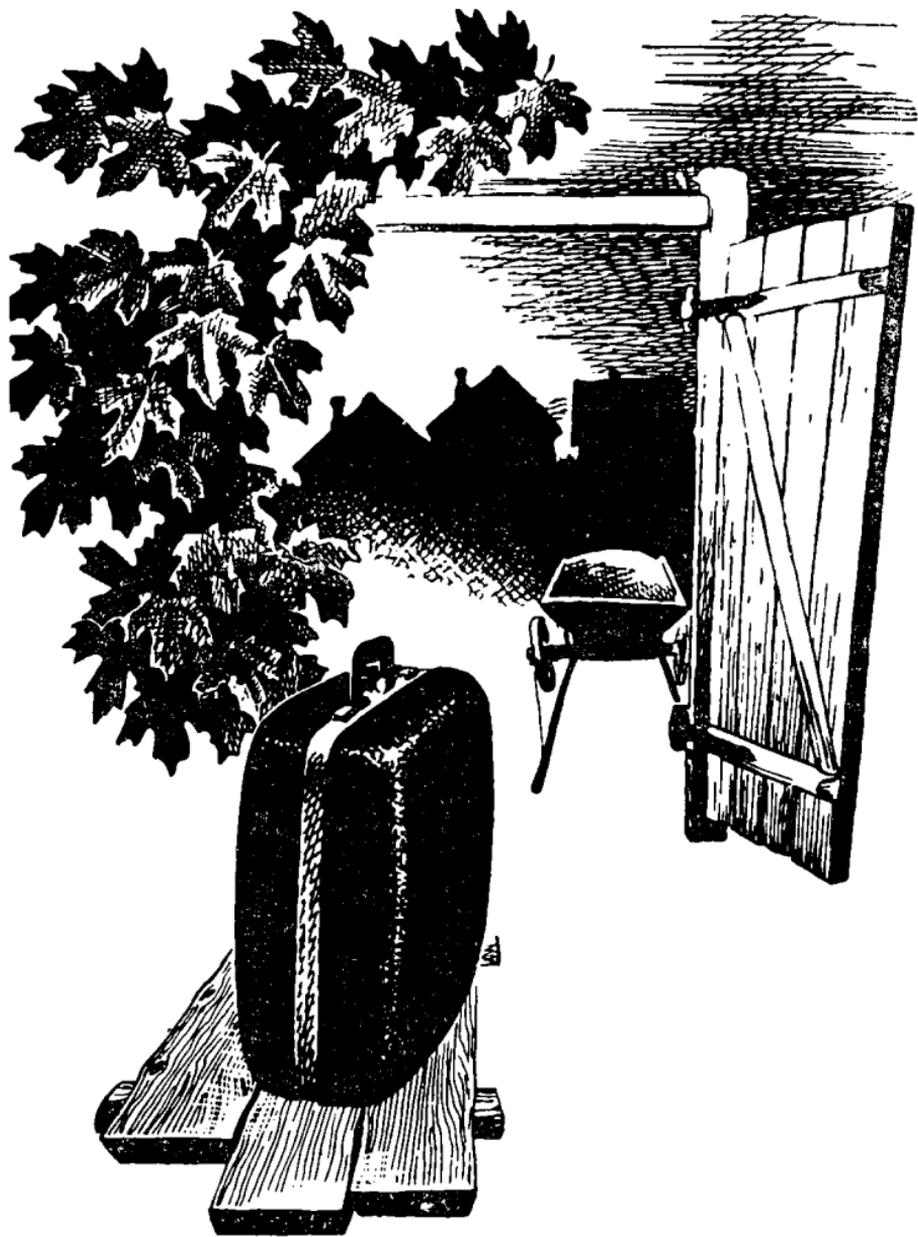
Время — не только дни, часы... Это — проживаемая нами жизнь. Единственная и неповторимая. Со всеми ее ра-

достями и горестями, ошибками и заблуждениями. Но и счастьем! Пусть оно и длилось всего мгновение. Главное, что оно — было.

Не знаю, смогла бы я прожить свою жизнь иначе или не смогла? Может — да, может — нет. Никто этого не знает. И никогда не узнает, увы.

На дворе осень.

Дождливая осень моей Уфы.



Рассказы



ТУМАН

Мастерская, где Салима спряталась от беды и плакала сейчас обидными слезами, была совсем крохотной, но с большим окном на улицу. Полчаса назад, когда она бежала сюда, ей казалось, что здесь, в уютной тишине, среди недорисованных плакатов, разноцветных банок из-под красок, досок и фанерок, будет легче. Салима думала, что повесит плащ на кривой гвоздик в правом от двери углу и возьмется за кисть, чтобы закончить вчерашнюю работу, но в мастерской было сумрачно и холодно, будильник на подоконнике тикал навязчиво-равнодушно, и она растерянно села на табуретку. Слезы сразу набежали на глаза, словно только и ждали этого момента.

Так она сидела и плакала, пока слезы не кончились, потом утерлась и подошла к окну.

На улице клубился туман. Он был похож на огромное белое облако, которое ворочалось среди низеньких домиков. Мокро поблескивал тротуар, на ветках, прильнувших к стеклу снаружи, висели тяжелые пузатые капли. Мимо пробежали, смеясь, девушки.

Чему они радуются? Было странно видеть людей, у которых и в такую безобразную погоду хорошее настроение.

А что бы делали они сейчас, подумала Салима, если бы их, как ее, вызвал директор и сказал: «Ищи себе другую работу!»

Легко сказать — «ищи!». А где и как искать, его, конечно, мало волнует. Как не волнует и то, что сам же полгода назад взял ее, художника-оформителя, на ставку маляра, как будто это одно и то же. Жаль, что не нашлась сразу, как ответить на такое глупое предложение — искать другую работу, потому что ей была нужна не какая-нибудь работа вообще, а только та, которую она умела и любила делать.

От этой мысли ей стало жарко в холодной мастерской и захотелось действовать. Что она, в самом деле, распустила слезы? Надо идти в горком, там разберутся и помогут, не могут не помочь, потому что на то он и горком, чтобы разбираться в людских обидах и несправедливостях.

Поддержали же ее тогда, на совещании, даже руку партийный товарищ пожал, подойдя в перерыве. «Будет трудно, заходи!» — сказал без улыбки, и потому она ему поверила — не любезничал, а поддерживал, это сразу чувствуется. И еще она его взгляд запомнила — твердый такой, уверенный, на нее смотрел не как на красивую девушку, а как на боевого товарища. Это тоже можно сразу отличить и понять.

Салима решительно встала и, закрыв мастерскую, вышла на улицу.

Туман словно подкарауливал ее — навалился со всех сторон, обрызгав щеки мелкой влажной пылью. В двух шагах ничего не было видно, хорошо, что известно, куда идти. Город небольшой, и никакой туман не сможет здесь человека запугать или заставить его плутать по улицам. Главное, надо идти своей дорогой, никуда не сворачивая и не думая о том, что можешь заблудиться в тумане.

Так она про себя размышляла, и туман совсем ей не мешал. Наоборот, он тихо сидел на ее плечах и влажно дышал в затылок, роняя иногда теплые капли за воротник.

Сначала она подумала, что начался дождь, и даже посмотрела вверх, но там, наверху, тоже клубился туман, и она догадалась, в чем дело.

Людей на улице она почти не видела. Только однажды чуть не столкнулась с кем-то на перекрестке: большой, тяжело дышавший человек отпрянул в сторону от нее и тут же пропал в тумане. Конечно, где-то еще были люди, но они, словно галактики в космосе, проплывали мимо, невидимые и неслышные. И было странно ощущать свое неодинокое одиночество в этом неподвижном мире исчезнувших красок и звуков, где ты существовал как бы обособленно

и в то же время ощутимо зависимо от других. Вот шла же она сейчас к человеку, который должен был ей помочь, и то, что этот человек существовал, уже само по себе делало дорогу в тумане возможной и необходимой, как, наверное, маяк в ночи. Никаких маяков она не видела, но читала о них в хороших книгах о морях и знала, как это страшно, когда свет маяка неожиданно гаснет. Тогда корабль со всеми людьми обязательно врежется в скалы, и никто уже их не сможет спасти.

Вместе с этой мыслью к ней пришло вдруг сомнение и беспокойство: «А если мне и этот человек не поможет? Мало ли что бывает. Ведь на бумаге я числюсь маляром, в штате фабрики вообще нет должности художника-оформителя. Когда я устраивалась на работу, директор сказал: «Э-э, формальность! Нам маляр не нужен. Раз берем тебя художником, значит, художником и будешь работать!» А в трудовую книжку записали — маляр. Вот с этого обмена все и началось.

Директор ей сразу не понравился. Оглядел ее с ног до головы, скользнул взглядом по бумагам, которые она ему протянула, и небрежно отложил их в сторону. «Ты что, из детского дома? — спросил и, не дожидаясь ответа, махнул рукой: «Ладно, иди работай. Только не фантазируй очень. У меня денег на фантазии нет. Чтоб все было дешево и сердито».

Салима, конечно, обиделась, но не за себя, а за свою профессию. Как можно без фантазии работать? Ее для того и учили в техникуме, чтобы она что-то свое придумывала. Но как тут возразить, когда с тобой и разговаривать не желают?

Взяла Салима ключ от мастерской, в которую сто лет никто не заглядывал, обмела паутину во всех углах, привела в порядок колченогий стол, выбросила пустые бутылки и банки с засохшей краской и пошла на территорию фабрики посмотреть — приглядеться к фронту работ.

То, что она там увидела, сильно ее разочаровало: вся территория завалена непонятно чем, приземистые, неуклюжие здания стояли сикось-накось, а кирпичные стены были покрыты не то сажой, не то черной плесенью. Кое-где висели старые, выцветшие лозунги, которые вывесили здесь, наверное, еще при царе Горохе. Или вот первый цех: проем необычайно широк, ворота скособооченные, окна, пыльные и грязные, под самой крышей, стекла кое-где заменены фанерными листами... С чего тут начинать?

Салима много часов провела у этого цеха, над ней даже посмеиваться стали. Нет-нет да кто-нибудь из проходящих рабочих глянет мельком в блокнот и просвистит иронически: «Красота!» — и пойдет дальше, усмехаясь. Конечно, не верят, что можно что-то здесь изменить, привыкли люди. Но разве они в том виноваты?

Она сделала много разных эскизов и, выбрав из них наилучшие, пошла к директору. По душевной своей простоте Салима считала, что раз уж он, не задумываясь, рискнул взять вместо маляра девчонку, совсем неизвестную в мире прикладного искусства, то теперь вправе быть в курсе всех этапов ее работы. Вот она зайдет в кабинет, разложит на его большом столе все свои эскизы и, конечно, обоснует каждый вариант. Пусть они даже поспорят — это же естественно, когда сталкиваются разные вкусы.

Но директор едва посмотрел разложенные на столе листы и ткнул пальцем в самый, на ее взгляд, простой эскиз: «Мне чтоб дешево и сердито! — повторил он, дав понять, что ему недосуг разбираться в тонкостях оформительского дела. — Ты кто? Художник? Но на должности маляра. Значит, должна подходить ко всему практически. А практически — это и есть экономно. Соображай!»

После таких слов карандаша в руки брать не хотелось, не то что соображать. Салима, отплакавшись в укромном уголке, решила все-таки не сдаваться, потому что иначе работа теряла всякий смысл. Иногда ей приходилось по часу высидеть в приемной, терпеливо сносить недовольное фырканье секретарши, иронические замечания разных людей, которым она тоже почему-то мешала, хотя сидела смиренненько на краешке стула в маленькой тесной приемной. Директору, наконец, надоело и смотреть, и разговаривать с ней, и он разом подмахнул резолюцию на всех эскизах, отпустив тем самым ее душу на волю. Теперь она могла спокойно работать в мастерской.

Салима очень гордилась своей победой, считая, что беды от ее упрямства не случилось, наоборот, выиграл коллектив фабрики, который, конечно, заслуживает того, чтобы хотя бы в малой степени приобщиться к настоящему искусству. Задуманное ею красочное панно должно было украсить уродливую кирпичную стену здания первого цеха, которая слепо смотрела на проходную.

Салима совершенно была согласна с писателем, который утверждал, что красота спасет мир, и часто повторяла эти слова — и когда приходилось убеждать кого, и

когда требовалось самой укрепляться в своей правоте.

Красок на складе ей отпустили значительно меньше, чем требовалось по смете, кисти были дрянные, но она не огорчалась: главное — начать, потом уже не откажут, а если и откажут, она сумеет добиться своего. Так она и сказала девушкам из общежития, с которыми подружилась через Замиру — свою соседку по комнате. Замира — маленькая, смешливая толстушка — ей нравилась, и они быстро сошлись. Вместе ходили в кинотеатр, бегали на танцы. У Замиры в городе были дальние родственники, и вот в один из воскресных дней они отправились к ним в гости.

Родственники Замиры жили в достатке: большая трехкомнатная квартира, ковры по стенам. Приняли девушек хорошо, а когда узнали, что Салима — художница, уговорили ее порисовать. Она не стала капризничать и быстро набросала карандашом портреты детей хозяйки. Восторгам не было конца. В разговоре выяснилось, что все тут, оказывается, работают на той же фабрике.

— Слушай! — сказала хозяйка, обняв Салиму за плечи. — Раз ты художник, значит, у тебя краска есть?

Салима кивнула головой: конечно, есть, как же без краски?

— Тогда ты мне поможешь! Вот пол надо покрасить, окна...

— Даже не знаю, — растерялась Салима. — Это через бухгалтерию наверное...

— Чудачка! — засмеялась хозяйка. — При чем тут бухгалтерия? Она не магазин, а наша фабрика краску не выпускает... Ты так дай!

— Как — так? Так нельзя! Краски ведь не мои!

Салима беспомощно оглянулась, словно призывая всех сидящих за столом в свидетели: ну подтвердите же, что так нельзя и краски, действительно, не ее.

Но никто ее не поддержал, наоборот, все начали лукаво переглядываться друг с другом, словно удивлялись и сочувствовали ее жуткой наивности, и она наконец поняла.

— Так — это украсть, значит? — спросила она, ощущая в сердце холодок от того, что произносит это слово вслух, и боясь, что может обидеть тем самым прекрасных, добрых людей, сидящих за столом.

Хозяйка не обиделась, а засмеялась.

— Ну, надо же, какая очаровательная девочка! — воскликнула она и взглядом пригласила всех посмотреть на Салиму, как бы даже гордясь тем, что сумела увидеть в

ней это очарование первой. Потом снова легко коснулась тонкими, музыкальными пальцами ее плеча и пояснила:

— Милая моя! Воровство — это когда тебя поймают. Понимаешь?

— Да все она понимает! — возмутилась вдруг Замира.

— Нет, не понимаю! — обернулась к ней Салима. — Если что-то мне не принадлежит, значит, не мое. И я не могу этого брать. При чем тут — поймают, не поймают? Брать чужого не надо, тогда и ловить не будет.

— Все правильно! — поспешила поддержать ее хозяйка. — Я это и хотела сказать. Но вот я, например, делаю красивую ткань. И если я небольшой кусочек ее отрежу для себя, разве это воровство? Неужели я не имею права оставить себе маленький сувенир от того, во что вложен мой труд?

Она вопросительно заглянула в лицо Салиме.

— Ну, не знаю... — растерялась та. — Наверное, все-таки нельзя. Для этого есть магазины... Если каждый по кусочку... Нет, нельзя!

— А когда мастер берет, начальник цеха, директор? Они что, тоже воруют, по-твоему?

— Не знаю, как назвать точно, но знаю, что они этого делать не должны! — сказала Салима твердо.

Хозяйка сразу же перевела разговор на другое.

По дороге домой Замира долго выговаривала Салиме за сорванный вечер:

— Тебя как человека приняли, а ты...

— А что я? — возмутилась Салима. — Всего и сказала, что думала.

— Краску пожалела... И вообще — что ты из себя дурочку строишь? Все вокруг берут, что им надо. И ткани, и краски...

— Я, например, не беру! — отрезала Салима. — И ты вроде тоже... Зачем же обобщать?

— А платье на мне из какой, думаешь, материи? — разозлилась Замира. — Ее в наших магазинах днем с огнем не найдешь. А не я одна ношу. Раскрой шире глаза!

Салиму словно по голове кто сзади ударил. Вот это новости!

— Так ты что — воруешь? — спросила, чтобы только не задохнуться от удивления.

— Ага! — ответила сердито Замира. — Можно подумать, что ты с луны свалилась. Сходи в наш цех, посмотри! Там

если кто и не ворует, так это — станок. И то, наверное, потому, что он железный.

— И совесть тебя не мучает?

Замира посмотрела на нее и молча покрутила пальцем у виска.

Они разошлись если не врагами, то очень друг на друга рассерженными. Пошла в цех, чтобы своими глазами во всем убедиться, но ничего там не увидела: люди напряженно работали, каждый был занят своим делом, а мастер, с которым она хотела поговорить на эту тему, вытаращил на нее глаза и показал на часы — скоро конец смены, какие тут разговоры!

Она на него не обиделась, хотя как руководитель «Комсомольского прожектора» имела право задать ему любые вопросы.

Вот здесь надо сказать, что Салима, конечно, не была такой уж наивной, как, может, казалось некоторым людям, впервые с ней встречавшимся. Мягкая, доверчивая, она ко всем относилась ровно, считая, что каждый достоин внимания и уважения хотя бы только за то, что он — человек.

Однажды она так и сказала, выступая на собрании, чем вызвала большое оживление в зале, и кто-то даже потребовал объяснить, что она имеет в виду под этим странным утверждением: мол, а преступники? Они тоже люди, значит, и их надо уважать, да?

Объяснять ничего она не стала, потому что и без того было ясно, что имелись в виду не преступники, а нормальные люди. Удивилась только, когда ее единогласно избрали начальником штаба «Комсомольского прожектора».

— Ты же у нас святая! — сказала ей Замира, с которой она поделилась своим удивлением. — У тебя пунктик какой-то: все должны быть честными, справедливыми, щедрыми... Неужто, вправду, веришь, что должны?

— Должны, конечно! — ответила Салима. — А как же иначе? Так нас в детском доме учили и в школе...

— О, боже! — горестно воскликнула Замира. — Ты или святая, или дура.

Тогда она и внимания не обратила на это слово — не со зла сказано, просто с языка сорвалось, с кем не бывает!

А сейчас словно черная кошка между ними пробежала. И в одной комнате живут, но почти не разговаривают — «здравствуй!», «пока» — и все, будто других слов уж и в природе не существует. В цехе Замира и не взглянула на

свою подружку, когда та у станка остановилась. В общем, разладилось у них как-то все в одночасье, и Салима стала в соседнюю комнату чаще заглядывать, где жили девчужки-хохотушки из ткацкого цеха. И те к ней потянулись: то в мастерскую забегут по пути, то в кино с собой потащат, то чаевничать пригласят. Салима все свои эскизы начала показывать — глаз у них наметанный на красивые узоры и цвет. Такая дискуссия разворачивалась, что из других комнат заглядывали: что у вас тут, скандал, что ли?

Спорить, конечно, тоже надо уметь, а то каждый свое доказывает. Одна кричит, что надо ярче краски выбирать — людей радовать, другая — что стенд имеет практическое значение и нечего из него театральные декорации делать. Вот и разберись тут, что и к чему!

Салима, пока они друг с другом спорили, сидела молча, улыбалась и портреты их рисовала карандашом. И так здорово это у нее получилось, что ее потом всю зацеловали.

И вот однажды девушки, как обычно, забежали к ней в мастерскую. Сказали, что в кино идет хороший фильм и надо обязательно его посмотреть. Салима заканчивала рисовать плакат, и девушки, чтобы ей не мешать, сели в уголочке и начали шептаться. Потом кто-то взял да и развернул во всю ширь яркий, праздничный кусок материи.

— Смотри, Салима, какая красота!

— Ой, и вправду красиво! — воскликнула Салима, отрываясь от своего плаката. — Японская, да?

Девушки засмеялись.

— Наша! Первая партия. Только осваивать начали. Говорят, на уровне мировых стандартов. Ее еще никто, кроме нас, не видел. Вот сошьем себе по платью, все от зависти помрут! Хочешь, и тебе достанем?

— Как достанем? — нахмурилась Салима. — Вы что — украли, что ли?

— Да брось ты эти громкие слова! — отмахнулась одна из девушек. — О такой малости, что мы взяли, и говорить нечего. Все берут, а мы что — рыжие?

Салима удивленно смотрела на нее. Всерьез говорит или шутит? Если всерьез, то почему же другие не возражают, вон — посмеиваются, словно их этот разговор и не касается, и не интересуется.

— И вы так думаете? — спросила Салима, поворачиваясь к ним.

— Может, так, а может, и не так, — уклончиво ответила

другая девушка. — Я вообще ни о чем таком не думаю...

— А как же вы собираетесь пронести эти ткани через проходную? — Салима с трудом сдерживала возмущение. — Там же проверяют.

— Ну и что? — усмехнулась девушка. — Во-первых, не каждого. А во-вторых, надо уметь спрятать. Только дураки в сумки кладут.

— Да и поймают, ничего страшного нет, — добавила другая. — Пожурят для блезира, на этом все и кончится. Два-три метра — о чем речь? Другое дело — рулон...

— Это нечестно! — сказала Салима. — И брать нечестно, и платья потом носить из ворованного материала тоже.

— Ах, ах! — иронически воскликнула девушка. — Ты еще на собрании об этом скажи или, как его, в «Комсомольском прожекторе» прокати!

— И скажу! — бросила Салима. — Пусть все знают!

Девушки молча уставились на нее, потом многозначительно переглянулись.

В кино они, конечно, не пошли, вернее, Салима осталась в своей мастерской, словно и не было о кино никакого разговора.

Она не обиделась, что девушки ушли без нее. Она бы и сама отказалась — не то было настроение, а быть рядом и делать вид, что ничего не случилось, она бы не смогла. Странно, как просто у них все получается: и знают, что нехорошо брать чужое — государственное! — а берут, и гордятся тем, как ловко им удастся выносить ворованное через проходную. Даже не стесняются говорить об этом. И родственница Замиры тоже считает, что нет здесь никакой проблемы, и сама Замира... Неужели и все другие привыкли к такой жизни? Они же не только фабрику обкрадывают, а прежде всего — самих себя. Что же делать?

На другой день Салима пошла к директору, но его на месте не оказалось, и она решила поговорить с председателем профкома.

Тот внимательно ее выслушал и показал глазами на папку, лежащую на столе:

— Боремся, а как же! Излавливаем «несунов», наказываем. В прошлом месяце три рейда провели, пятерых поймали.

— Но ведь воровство-то продолжается!

— Да?! — насмешливо протянул председатель, то ли спрашивая, то ли подтверждая. — И у тебя есть конкретные факты?

— Да, нет... — смешалась Салима. — Я в принципе говорю. Люди почему-то считают, что они имеют право брать.

— Ну, я бы так не обобщал! — построжал председатель. — Во-первых, не все так считают, а во-вторых, кто ты такая, чтобы всех огульно осуждать?

— Я тут работаю...

— Да знаю, что ты тут работаешь! — засмеялся председатель. — Я не в том смысле говорю. Каждый должен жить честно, вот тогда и порядка будет больше. Уяснила?

— Я живу честно! — возмутилась Салима.

— Вот и хорошо! Есть у тебя конкретные факты — выкладывай, мы разберемся, а нет — продолжай жить честно и не морочь мне голову.

Он демонстративно откинулся на спинку стула, давая понять, что разговор закончен. Когда Салима взялась за ручку двери, он неожиданно спросил:

— Ты давно здесь работаешь?

— Три месяца, — ответила она, оборачиваясь. — А что?

— Прыткая! — заметил председатель, прищуриваясь.

А на другой день в мастерскую заглянул сам директор. Он хмуро походил по комнате, понюхал зачем-то несколько открытых банок с краской и ткнул пальцем в фанерный лист, на котором Салима раскрашивала фрагмент панно.

— Плохо.

— Что — плохо?

— Все плохо, — сказал директор, морщась. — Плохо, что не в свое дело лезешь.

И, не поясняя ничего, достал из кармана вчетверо сложенный листок бумаги.

— Завтра комиссия приезжает. Вот нарисуйешь такой лозунг и повесишь у ворот.

Салима молча взяла бумагу. Директор, не прощаясь, вышел.

Текст лозунга был написан небрежно, от руки. «Часа два уйдет!» — уныло подумала Салима. Ей не хотелось отрываться от своей главной работы, и она решила отложить поручение директора на вечер. Утром повесят лозунг у ворот, наверняка комиссия раньше восьми не появится.

Перед самым концом смены в мастерскую забежала комсомольский секретарь.

— Привет! — бросила она бодро. — Как дела? Чего это на тебя девчата жалуются? Зазналась, говорят, знаться ни с кем не хочешь. Угрожает, говорят, опозорить перед всей фабрикой. Чего это ты, а?

— Глупости! — вспыхнула Салима. — Там у них в цехе ткань новую разворовывают, вот они и...

— Ладно! — прервала ее секретарь, ничуть не удивляясь. — Воровать, конечно, нехорошо, а ты с девушками помирись. Они у нас передовики производства и активные общественники. Не надо их подозрением обижать. И раз все о тебе говорят, что ты зазналась, значит, есть над чем подумать. Ясно?

— Ничего мне не ясно.

— Тогда мы тебя прорабатывать будем. Воспитывать то есть, — поправилась секретарь и весело подмигнула: — Но ты не расстраивайся, ладно? А сейчас — шабаш работе! Через пять минут репетиция. Пошли!

И по тому, как легко она прыгала в разговоре от одной темы к другой, Салима поняла, что секретаря комитета меньше всего волнует ее ссора с девушками.

— Никуда я не пойду! — сказала она.

Секретарь посмотрела на нее удивленно, но уговаривать не стала.

Салима до позднего вечера проработала в мастерской, наедине со своими мыслями. Мысли были печальные.

А утром ее перехватила в проходной секретарь комитета комсомола:

— Вчера совсем вылетело из головы, извини. Сегодня в горкоме совещание комсомольских «прожектористов». Выступать там не обязательно, но быть надо. Давай лети. До девяти успеешь.

— Мне лозунг нужно повесить, — растерялась Салима.

— Где он?

— В мастерской.

— Дай мне ключ, я все сама сделаю.

— Только, пожалуйста, не забудь!

— Что ты!

И Салима побежала в горком комсомола. Народ на совещании подобрался боевой — говорили горячо и по делу. И хотя она выступать не собиралась, попросили высказаться и ее. Салима ничего придумывать не стала, а рассказала, как все было — и о разговоре с девушками, и о просьбе родственницы Замиры.

«Ты фамилии называй!» — крикнул кто-то из зала. Она растерянно оглянулась на президиум. «Дайте, товарищи, ей договорить!» — сказал секретарь горкома комсомола в зал, а Салиме посоветовал: — И в самом деле, надо говорить поконкретнее».

«Я говорю о явлении, которое широко распространилось на нашей фабрике, — заметила Салима, укоризненно взглянув на секретаря. — Я, конечно, могла бы назвать фамилии, но дело совсем не в этом. Мне не нравится, что наши руководители знают о воровстве, но все сводят только к выявлению конкретных виновников. А условия не изменяются. Мастера, начальники цехов смотрят на все сквозь пальцы».

В перерыве к ней подошел представитель горкома партии и похвалил за выступление: «Правильно ты все говорила. Будет трудно, обязательно заходи. Позвони и заходи».

А на другой день ее вызвал к себе директор фабрики. Она долго сидела в приемной. Хмурая секретарша с ней не разговаривала, демонстративно листала какой-то журнал. Салиме было ужасно одиноко и обидно — что она ей-то сделала? Странные какие-то люди здесь, на фабрике! Ты еще и подумать не успеешь, а они уже наперед все знают...

Она понимала, что несправедливо так судить сразу обо всех, но сердцу было неспокойно и тревожно. Вроде никакой вины за ней нет, работает по плану, что обещала — выполнила, а не в свои дела лезет, так это ее общественная обязанность. Она ведь не напрашивалась в «Комсомольский прожектор» — народ сам выбрал, как же можно его подводить?

Так она сидела и свои прегрешения перебирала, пока директор звонком не позвал ее к себе.

Он даже навстречу ей не встал. Осмотрел, как в первый раз, с головы до ног и спросил:

— А кто тебя уполномочивал выступать в горкоме о том, в чем ты не смыслишь?

— Меня послали на совещание, — ответила она растерянно. — Я и пошла.

— Я о выступлении спрашиваю! — рявкнул директор так, что она вздрогнула от неожиданности.

— Меня попросили выступить... И потом, я сказала только то, что есть на самом деле. Я ничего не придумывала.

— Ты у нас кто?

Салима широко открытыми глазами смотрела на директора, не зная, как отвечать на этот странный вопрос.

— Ты у нас — «подснежник», — ответил сам, усмехнувшись. — То есть ты есть и вроде бы тебя нет. Незаконная

единица. И потому рта открывать тебе не полагалось. В общем, так: пойдешь в бригаду маляров. С завтрашнего дня.

— Это несправедливо! — сказала она тихо, борясь со слезами: чтобы они не побежали по щекам, ей пришлось еще шире раскрыть глаза и совсем не мигать.

— Маляр — хорошая профессия, — успокоил он ее. — Ничуть не хуже, чем твоя, а может, и получше даже.

— Это несправедливо! — повторила она. — Вы сами пригласили меня художником-оформителем.

— Я ошибся, — признался директор с мягкой улыбкой. — У нас, оказывается, нет в штатном расписании такой должности.

— Но я же вам тогда говорила! И вы сказали, что это не имеет значения!

— Надо исправлять свои ошибки. Я был тогда неправ. Директор развел руками, показывая, как он огорчен случившимся. Он так стремительно менялся на ее глазах, что она перестала его узнавать. Неужели совсем недавно он кричал на нее?

— И потом, — добавил директор печально, — ты очень меня подвела с этим лозунгом.

— Каким лозунгом? — удивилась Салима.

— Тем, который я поручил тебе вчера написать и вывесить утром.

— Я его написала! Вчера же!

— Но не вывесила!

— Его должна была вывесить Кудимова. Она мне обещала!

— Вот видишь! — укорил он. — Все подводят друг друга. Мне звонят из горкома, спрашивают: разве у вас есть художник-оформитель? Я говорю — нет. Тогда спрашивают — кто же это вчера выступал на совещании? Я говорю — не знаю. А какой же ты директор тогда, если не знаешь? Видишь, какой замкнутый круг получается. Из маленького обмана получается большая ложь. Ты согласна с этим?

Салима молча кивнула головой.

— Так кто же тогда кого подвел? Ты меня или я тебя? — спросил директор отеческим голосом. — Пока никто не знал, что нам не положен художник-оформитель, ты могла работать. А как теперь? Да ты сама, я думаю, понимаешь, как нехорошо нарушать законы?

Салима снова кивнула головой.

— Вот видишь! — обрадовался директор. — Я хотел, как

лучше, а получается, что я, директор, нарушил закон. Вот что ты наделала, Салима!

— Но я же не хотела вас подводить! — растерянно проговорила она.

— Теперь уже ничего не поделаешь! — грустно сказал директор. — Каждый из нас должен отвечать за свои ошибки... Ищи другую работу.

Он обошел стол и проводил Салиму до самых дверей...

В мастерскую она не стала заходить, а сразу же направилась в горком комсомола. Она хотела объяснить там, что директор не виноват: он, действительно, не знал о ее выступлении, а то, что она оформлена художником, объясняется не его неуважением к закону — пониманием необходимости и важности прикладного искусства для воспитания советских людей. Так она шла и рассуждала, и все получалось очень убедительно.

Секретарь горкома комсомола, у которого были свои неприятности, очень куда-то спешил и, слушая ее, нетерпеливо стучал пальцем по столу.

— Видишь ли, Салима, — сказал он сожалеющим голосом. — Ты вчера верно говорила — факты воровства подтвердились. Но ты не права, что на фабрике ничего не делается. Вот у меня справка — в прошлом месяце проведено три рейда, поймали пятерых и всех наказали. Значит, работа ведется. Нельзя людей обвинять зря. Вместе со справкой прислали характеристику на тебя: высокомерна, груба, неуживчива. Порученное дело до конца не доводишь. Не участвуешь в художественной самодеятельности. Вот что пишут! А мы о тебе были другого мнения...

Салима не стала его дальше слушать — встала и вышла...

Вот как она оказалась в мастерской, где долго плакала и плохо думала о всех людях, а потом все-таки решила идти в горком партии, к тому человеку, который пожал ей после совещания руку и обещал помочь.

Конечно, после всего случившегося она долго колебалась — а что, если и ему уже успели сказать о ней неправду и он будет разговаривать с ней так же сухо и неприветливо, как секретарь горкома комсомола?

Но Салима знала, что все равно найдет этого человека, пусть он даже сразу не узнает ее и удивится, когда она напомнит ему о его обещании. Такое тоже может быть — сколько разных совещаний проводится в городе, и многие люди хотят, чтобы жизнь наша становилась лучше. И для

этого нужно только научиться разговаривать друг с другом нормальным человеческим языком и не напускать тумана, чтобы черное становилось белым и наоборот...

На углу она остановилась и оглянулась: сзади клубился еще туман, а впереди все уже было хорошо видно: туман прямо на глазах исчезал, и, как на детской переводной картинке, возникали дома, деревья, люди, которые шли куда-то по своим важным и не очень важным делам...



ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ...

У Шафката был ужасный недостаток, который портил ему всю жизнь. И хотя она только еще началась, недостаток оказался таким, что никаких перспектив на лучшее в будущем у него не имелось. В детстве, когда все маленькие были просто маленькими, независимо от роста, Шафкат очень выделялся умом и находчивостью. Он даже в шахматы научился играть раньше всех и выходил победителем из разных соревнований. Но после одного лета, когда кончились каникулы, он вдруг увидел, что все стали на голову выше, а он, наоборот, на голову ниже. И на уроке физкультуры его, вставшего на свое место, между Рафиком и Ильгизом, прогнали в самый конец, где за ним никого больше не было. Он надеялся, что еще кто-нибудь найдется ниже его, но таких не оказалось.

Это было, конечно, обидно, потому что он уже привык как победитель шахматных соревнований всегда быть впереди, а теперь о том даже думать не приходилось.

Правда, он надеялся еще, что учительница заметит такую несправедливость и поставит его как единственного в классе отличника в голову шеренги, но этого не случилось. Однако урок был интересный, и он скоро забыл про свою обиду — бегал, кувыркался через голову на мягких, упругих матах, и скоро учительница его похвалила, выделив таким образом среди самых рослых и сильных учеников. По-

этому, когда их снова всех начали строить, он прибежал на свое место первым, и другим пришлось подстраиваться уже к нему. Тут учительница, улыбнувшись, скомандовала почему-то «направо шагом марш!» — и вся шеренга пошла за ним, самым маленьким, сначала по залу, а потом — по длинному коридору до дверей класса. Конечно, он шагал лучше всех, четко ставя ногу — жаль, что в мягких тапочках не было слышно, как он это делает, но все равно другим пришлось равнять шаг по нему...

Детство, к сожалению, быстро пролетело, и Шафкат как был маленьким, так и остался — ну, может, чуточку порос, на полголовы, не больше. Зато остальных как будто за уши тянули — он некоторым даже до плеча не доставал, не говоря уже о Рафике, который стал выше всех учителей, и, чтобы он никому не заслонял доску, его посадили на заднюю парту, Шафкат же остался сидеть прямо напротив учительского стола, что было очень удобно, потому что он мог подглядывать в классный журнал и, следя за учительским пальцем, догадываться, кого сейчас вызовут отвечать. А то, что нельзя было списывать, ему не мешало: он был отличник и шпаргалками не пользовался. Наоборот, занимая такое ключевое место, мог выручать других, за что ребята его уважали и никогда не дразнили за маленький рост.

Но очень скоро он растерял все свои преимущества, потому что в жизнь мальчишек легко и бурно, словно весеннее половодье, ворвались девушки. Они тоже подрастали где-то рядом и совсем незаметно, чтобы однажды вдруг появиться во всем блеске своей красоты и заявить свои права.

Началась пора влюбленностей, переживаний, неясных томлений, стихов, свиданий, а также первых робких признаний и поцелуев, о которых наиболее удачливые и смелые рассказывали с легкой усмешкой, но с плохо скрываемой гордостью в тесном кружке непосвященных. Шафкат относился к их числу и умирал от зависти и от того еще, что среди красивых девушек не было ни одной ниже его ростом. На последнем школьном вечере он долго присматривался и примерялся, пока решил пригласить самую, как ему казалось со стороны, невысокую и худенькую девушку из параллельного класса. Но когда он к ней подошел и открыл рот, она трянула косичками и отказалась. И тут же пошла танцевать с подругой, а Шафкат, не сумевший провалиться сквозь пол, остался стоять у враз опустевшей

стены. Он не помнил, как ему удалось выскользнуть из зала и как он добрался до дома — обида жгла сердце, а в ушах звучал оскорбительный смех этой девчонки, которая, видимо, показала подруге на него, когда он остался с носом.

В тот вечер он долго разглядывал себя в зеркало, убеждаясь, что природа не только обделила его ростом, но и всем остальным — тоже. Особенно пугали уши: они вызывающе торчали по обе стороны лица и делали его похожим на Чебурашку. И тогда он окончательно поверил в то, что навсегда неровня другим ребятам и что нечего больше даже пытаться соревноваться с ними. Нельзя сказать, что он примирился с этим сразу. Как-никак, а в классе он по-прежнему считался лучшим учеником, знал больше, чем кто-либо другой, и умел рассказывать о прочитанном и увиденном подробно и интересно. Когда в школу приходила какая-нибудь комиссия, его вызывали к доске и он отвечал на самые трудные вопросы без запинки.

Только что было толку от его начитанности и ума, если девушки пренебрежительно проносили мимо него свои взгляды, отдавая их недалеким и вообще ничего не читающим, но зато длинноногим парням.

Конечно, на лбу у тех не было написано, что они плохо учатся, но ведь разговаривали же они о чем-нибудь, гуляя по улицам или стоя часами в подворотнях и подъездах?

Вот что поражало и злило Шафката, который мог бы дать сто очков вперед любому из этих долговязых, окажись он на их месте. Увы, никто его на свое место не приглашал, и он, ненавидя себя и свой маленький рост, становился все более замкнутым, неразговорчивым и обидчивым. Все время проводил за чтением и в эти часы забывал о своей беде. Когда уставали глаза, он откладывал книгу в сторону и смотрел в открытое окно на звезды. Может быть, поэтому летом любил спать в саду, под старыми яблонями, когда небо опрокидывало на него свои таинственно мерцающие огни. И вот однажды он лежал и смотрел, и думал о том, что жизнь не получилась и уже не получится никогда, но согласиться с этим было трудно, потому что на дне души все равно жила надежда на чудо. Ах, если бы вот сейчас взять да превратиться в звезду, стать одной из тех, что светят миллионы лет людям, обещая им исполнение сокровенных желаний.

А где-то, наверное, есть планета, на которой живут

маленькие люди или где рост вообще не имеет никакого значения.

Шафкат пытался представить себе эту планету и жизнь на ней, но видел ту же школу и тех же ребят, только уменьшенными, как на экране телевизора.

Тогда он начинал думать о том, что станет врачом и изобретет лекарство для всех желающих немедленно вырасти. Лучше, конечно, чтобы это был порошок, потому что уколы никто не любит, а люди не должны страдать из-за того, что родились маленькими.

Так он размышлял и начал уже засыпать, как вдруг услышал голоса: по ту сторону забора, на скамейке, разговаривали двое, и он сразу их узнал. Это были Гариф и Нафиса. Второгодник Гариф и Нафиса, его соседка, недосягаемая красавица, по которой вздыхали все ребята, живущие на их улице,

— Нафиса...

— Ой, Гариф!

— Нафиса.

— Гариф, а ты любишь меня?

Шифкат закрылся с головой одеялом, но все равно слышал их жаркий шепот, от которого его бросило в дрожь. Наконец он не выдержал, вскочил и заорал дико:

— Эй вы! Катитесь отсюда!

Наверное, он их сильно напугал, потому что уже через мгновение там, за забором, наступила тишина.

«С ума можно сойти! — думал он, ворочаясь на сразу ставшей жесткой постели. — Я на нее и смотреть боялся, а этот двоечник, второгодник, который и в футбол играть не умеет, и, вообще, полный кретин, ее обнимал и о любви говорил... Застрелиться, что ли?»

Этот случай нанес ему такую глубокую душевную травму, что он совсем замкнулся: ходил одинокий и грустный, мечтал быстрее закончить школу и уехать куда-нибудь, чтобы целиком отдаться работе. Он решил стать учителем: во-первых, учителей уважают за знания, а во-вторых, они воспитывают других людей, учат их видеть в человеке не только внешность, но и душу, внутреннюю красоту. Если этим делом заниматься по-настоящему, времени не останется себя жалеть.

...В тот день Шафката потянуло в парк. Он и раньше часто приходил сюда: был у него здесь свой уголок, где хорошо читалось и думалось в одиночестве.

Другие не умели работать на природе, а он любил и

умел, потому что ничто не могло отвлечь его от книги, если он ее решил прочесть. Парк был рядом с институтом, очень удобно — сбежал по длинным ступенькам, перешел на другую сторону улицы — и сиди себе в уединении, закрытый кустами и деревьями от любопытных глаз и городского шума. В библиотеке такого удовольствия не получишь — слишком много людей вокруг, стулья скрипят, хотя и шепотом, но можно разговаривать друг с другом, какие уж тут занятия?

Так что ничего странного в том, что Шафкат оказался в парке за два часа до занятий, не было. Просто ему захотелось побыть одному это время, вот и все. Но на самом деле он шел в библиотеку, а тут вдруг внутренний голос шепнул: зайти в парк, зайти! Никогда раньше не шептал — это Шафкат точно помнил. Потому и свернул сразу, не доходя до института, в парковые ворота и по усыпанной желтыми листьями аллее добрался до своего любимого места.

День стоял солнечный, теплый. В воздухе плавали легкие блестящие паутинки, под ногами шуршали листья. Трава на газонах уже совсем пожелтела. В гипсовых куртинах печально никли увядшие астры.

Шафкат откинулся на спинку скамейки и подставил лицо солнцу: осеннее, дальнее, оно чуть грело, но глазам было все равно больно смотреть, и он зажмурился. Наверное, он скоро задремал, потому что не увидел, как к скамейке подошла девушка. И даже не сразу сообразил, о чем она у него спрашивает.

— Я вам не помешаю? — повторила девушка вежливо. Она была ослепительно хороша.

— Нет, — сказал он и подвинулся, хотя и так сидел на самом краю скамейки.

Девушка села на другой краешек и сразу раскрыла книгу, положив ее на колени. Шафкат тоже попытался читать; слова не лезли в голову. Тогда он отложил книгу и стал смотреть на деревья. Но глаза у него сами по себе начали косить в ту сторону, где тихо сидела и читала девушка. «Странно, — подумал он. — Я столько раз здесь бывал, но никогда ее не видел... Что, интересно, она читает? А волосы у нее красивые. И как красиво она сидит — спина совсем прямая, голова чуть наклонена, у шеи такой красивый изгиб, что и вправду похожа на лебединую... И пальцы красивые, и локон, который почти все лицо закрывает...»

Так он всю ее внимательно рассмотрел и не нашел никаких недостатков: она была само совершенство!

Прошло, наверное, полчаса, прежде чем девушка оторвала глаза от книги и посмотрела на маленькие наручные часики, потом поднесла руку к уху...

— Простите, — сказала она, повернувшись к Шафкату. — Но у меня, кажется, остановились часы. Вы не скажете, сколько времени?

Вопрос застал Шафката врасплох — во рту у него сразу пересохло, а губы стали деревянными. Он посмотрел на свои часы и ответил хрипло и коротко. Она удивленно на него взглянула, но ничего не сказала. Открыла сумочку и стала аккуратно класть в нее книгу, и он понял, что она сейчас уйдет.

— Простите... — сказал он, не узнавая своего голоса.

— Да? — откликнулась она.

— Мне кажется, вы обиделись...

— Я? — удивилась девушка. — За что?

— Ну, я так ответил... — смешался Шафкат.

— А мне показалось, вы рассердились, — улыбнулась девушка. — Только я тоже не знала — за что? Я ведь сюда почти каждый день прихожу почитать. И это мое любимое место.

— Да? — поразился Шафкат. — Я здесь тоже люблю сидеть.

— Странно! — сказала девушка, посмотрев на него внимательно. — Я никогда вас здесь не видела.

— Я тоже об этом подумал, — признался Шафкат. — Неужели каждый день?

Девушка кивнула.

— И в дождь?

— Нет, когда дождь, я читаю в библиотеке.

— Я тоже там занимаюсь, — сказал Шафкат, все больше удивляясь тому, что они не встретились раньше. — Вы здесь учитесь? — он показал глазами в сторону института, который отсюда, конечно, не был виден, только она сразу поняла.

— Здесь. На инфаке.

— А я на филологическом...

— Вот интересно, да? — воскликнула она полувопросительно, посмотрев на него снова своими блестящими черными глазами, потом по-детски отрывисто вздохнула и сказала: — Ну, мне пора.

Встала, отряхнула с юбки невидимые соринки и закину-

ла сумку за плечо. «Боже мой! Какая она красивая! — подумал Шафкат, и сердце у него заняло привычной болью. — Не надо было с ней заговаривать, не надо, кретин ты этакий!»

— А как вас зовут? — спросил он, продолжая сидеть.

— Гюзель. А вас?

— Шафкат...

— Ой, как интересно! — засмеялась она, встряхивая волосами. — Я побежала, Шафкат, пока!

Он хотел спросить, почему она засмеялась, когда он назвал свое имя, но не успел: она отвернулась и пошла по аллее в сторону ворот.

Шафкат смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом, и ему, как в детстве, вдруг захотелось заплакать. «Кретин ты, кретин! — сказал он себе. — Ты ведь даже встать не решился, чтобы она не увидела, какой ты есть на самом деле. Мало тебе было унижений, да? Чего же ты лезешь со своими разговорами?»

Он посидел еще несколько минут, дожидаясь, когда привычное чувство безразличия и безысходности не вытеснит из души впорхнувшую в нее надежду на чудо. Но эта птаха, видимо, забилась так глубоко, что он напрасно ждал. Чудо все-таки произошло: голос, заставивший его прийти в этот парк в неурочное время, заманил в ловушку, и Шафкат понял, что пропал...

Спустя два дня они встретились в институтском буфете. Конечно, он увидел ее сразу, едва переступил порог. Теперь у него зрячими были не только глаза, но и, казалось, уши, не говоря уже о сердце, которое подсказывало, куда именно и когда именно надо идти, чтобы эта встреча произошла. Дело в том, что он шел вовсе не в буфет, а в деканат за справкой для военкомата.

Гюзель сидела в дальнем конце за столиком в одиночестве и ела пирожное. Она тоже сразу увидела Шафката и помахала ему рукой, как будто только его и ждала. Он подошел и, глупо улыбаясь, остановился рядом.

— Садись, — сказала Гюзель, показывая глазами на стул. — Хочешь пирожное?

Он сел, взял из ее тарелки пирожное и откусил сразу половину, но проглотить не смог и чуть не подавился.

Гюзель засмеялась:

— Застряло, да? Давай постучу по спине. — И, привстав, несильно открытой ладонью несколько раз постучала его по спине. Потом заглянула ему в глаза. — Помогло?

Он кивнул головой и положил остаток пирожного обратно в тарелку.

— Ты не был сегодня в парке? — спросила Гюзель.

Только сейчас до него дошло, что она обращается к нему на «ты».

— Нет, — соврал он. — Дождь ведь был.

— А я была, — сказала она, слизнув крем с мизинца. — Но тогда еще дождя не было.

Шафкат быстро прикинул: они разошлись чуть-чуть по времени, минут двадцать, не больше.

— А что там? — спросил он неуклюже, потому что хотел сказать: «А что ты там делала», но это «ты» ему очень мешало.

— Там? — удивилась Гюзель. — Там — осень. Желтые листья, запахи разные, воздух свежий. Я люблю такую погоду.

— Пушкин тоже любил, — заметил Шафкат невпопад.

— А-а! — обрадовалась она. — Болдинская осень, да? «Уж осень на дворе...» Я помню, как в школе учили... А ты любишь стихи?

— Люблю, — сказал он, хотя стихов не любил.

— Ты сейчас куда? — поинтересовалась Гюзель. — В библиотеку?

— Ага, — кивнул он. Ему надо было идти в военкомат, но раз она сказала о библиотеке, значит, он пойдет туда.

— Я, может, тоже приду. Попозже... Побежали, да?

— Нет, я еще здесь посижу, — пробормотал Шафкат, отворачиваясь, чтобы она не увидела, как у него вспыхнули щеки.

— Ну тогда пока! — сказала она, собрала посуду и пошла к столику, где громоздились грязные тарелки и стаканы.

Не оборачиваясь, он видел, как она шла, легкая, красивая, к выходу из буфета.

В библиотеке он выбрал место рядом с окном и предусмотрительно положил на соседний стул книгу. Отсюда хорошо просматривался весь зал и, главное, дверь, через которую Гюзель должна была появиться.

В книгу, лежащую перед ним, он даже не заглянул.

Народу в библиотеке было немного. За окном надоедливо шуршал дождь — по стеклу окна бежали тягучие, свинцовые капли. Крыши низеньких сарайчиков-гаражей, что ютились рядом, блестели одинаково мокро и тоскливо. Через улицу, спрятавшись под одним зонтом, бежали девушки.

ки... Ему показалось, что среди них была и Гюзель. Он привстал со стула, чтобы рассмотреть, но в этот момент услышал тихий смех за спиной:

— Что ты там разглядываешь?

Гюзель приподнялась на цыпочки и тоже посмотрела в окно. Он не нашелся, что сказать, и молча убрал со стула книгу. Сердце у него стучало, как сумасшедшее.

— Ты для меня занял, да? — спросила она.

— Да, — ответил он. — Я думал, будет много народа. Когда дождь, здесь мест свободных не бывает.

— А мы всегда друг для друга занимаем. Только в другом конце, — она показала где, и он опять удивился, потому что это было совсем недалеко. — А ты что читаешь?

Шафкат показал ей учебник башкирского языка.

— А у меня английский.

— Как будет по-английски «осень»? — спросил он, поглядев в окно.

Она сказала.

— А желтые листья?

Гюзель произнесла длинную фразу по-английски и засмеялась.

Он недоверчиво взглянул на нее, и она пояснила:

— Я сказала: давай перестанем разговаривать и начнем заниматься.

— Ладно, — согласился Шафкат.

Он уставился в книгу и перечитал несколько раз одну и ту же фразу, не понимая смысла: «Подчиненное предложение, выполняющее роль подлежащего...» «Я люблю ее. Как только увидел, с первого взгляда. Нет, еще раньше. Она где-то была, а я уже ее любил. И ничего теперь с этим поделать нельзя. Если она у меня что-нибудь спросит вот сейчас, я позову ее в кино».

— Читай! — шепнула Гюзель, наклонившись к нему.

— А я читаю, — сказал он.

— Нет, не читаешь, — возразила она. — Я же вижу!

Гюзель протянула руку и взяла у него учебник:

— Какой параграф? Этот?

— Да.

— Ну-ка, скажи, какой член предложения называется подлежащим?

— Я не знаю, — признался он.

— Вот видишь!

— Гюзель, — сказал он нерешительно. — Давай сходим в кино?

— Когда? — спросила она, ничуть не удивившись. — Сейчас?

— Ага.

— Но на улице дождь!

— Ну и что?

— А ты видел когда-нибудь мокрых куриц? — засмеялась она.

— Видел.

— Это очень некрасиво, да?

— Нет, — Шафкат пожал плечами. — Просто мокрые курицы, и все. Ничего особенного.

Он посмотрел на окно, по стеклам которого все так же медленно и тягуче плыли вниз капли. Шуршал дождь, мерно раскачивались почерневшие ветки старого тополя, растерявшего свои листья.

— Правда, грустно? — спросила она тихо, глядя, как и он, на окно.

Шафкат ничего не ответил, думая о том, что сегодня у него, наверное, самый счастливый день в жизни. Сердце его билось сильно и ровно, а на душе было свободно и радостно, как никогда прежде. И если бы ему сказали сейчас: Шафкат, ничего больше у тебя не будет, он бы без раздумий согласился, чтобы жизнь замерла на этом самом мгновении... Он незаметно облизнул пересохшие губы и как можно спокойнее напомним:

— Так мы пойдем в кино?

— Конечно! — обрадованно откликнулась Гюзель. — Я не была в кино уже тысячу лет.

— Тогда я сбегаю за билетами и буду ждать там! Через полчаса.

— Пойдем вместе... — начала было Гюзель, но он покачал головой, быстро собрал книги, сунул их небрежно в сумку и почти бегом направился к выходу.

...Какой кинофильм они смотрели в тот день? Сколько ни пытался Шафкат потом вспомнить, так и не вспомнил. Что-то происходило на экране, звучала музыка, произносились слова — все прошло-мелькнуло мимо сознания, потому что смотрел он не на экран, а на сидящую рядом девушку — сказочно красивую в полумраке зала.

Видимо, она чувствовала на себе его взгляд и понимала, почему он смотрит на нее, а не на экран — была смущена и сидела неестественно прямо и напряженно, боясь пошевелиться, боясь убрать руку с поручня кресла, боясь повернуться к нему...

Потом они ходили по ночному городу, не зная, по каким улицам проходят, куда и зачем идут. И странно — она не была выше его, нет; они шли, касаясь друг друга плечами, и, когда взгляды их встречались, он видел ее глаза прямо перед собой, и ненасытная жажда выговориться владела ими обоими, словно до этой ночной прогулки им не давали возможности разговаривать.

Так бы они ходили и ходили, наверное, еще сто лет, не сучая от того, что были всегда вдвоем и обо всем, казалось, переговорили, не повторяясь. Только жизнь тоже не дремала: она подсчитывала время, и не просто время, а все секунды, которые постепенно складывались в минуты, часы и дни. И вот однажды они вдруг увидели, что от вечности, которая у них была, осталась какая-то жалкая неделя, а впереди — две разные дороги, уходящие куда-то за горизонт, где ничего уже вообще нельзя разглядеть.

Пока они переживали из-за того, что осталось так мало времени, жизнь, не желаящая ни с чем считаться, взяла да подтащила вокзал прямо к ним, а вместе с вокзалом — поезд из десяти вагонов, в одном из которых Гюзель оказалась непонятно каким образом, потому что сердцем была совсем в другом месте. Шафкат потерянно стоял возле вагона, тоже не понимая, откуда этот вагон взялся и что теперь делать ему одному в большом городе.

Бывает, оказывается, и такая любовь, когда люди не успевают сказать друг другу самые главные слова, откладывая их на потом, как будто у них две жизни: в одной они переживают, волнуются, страдают, радуются, а в другой — просто живут. Но так, конечно, никогда не бывает, и потому Шафкат после отъезда Гюзель вернулся домой с вокзала в совершенно чужой город, где ему нечего было делать. Дома своего он не нашел и потому долго сидел в парке на той самой скамейке, все заново переживая. Это было очень больно — понимать, что ты совершил большую ошибку, отложив главные слова на потом.

Получилось так еще и потому, что у матери Гюзель была своя точка зрения на любовь. Она считала, что любви вообще нет в жизни: кто-то взял и придумал для других красивую сказку. Она тоже в нее поверила, вышла замуж по любви да и застряла в деревне, а вот ее старшая сестра без всякой любви устроилась в городе при муже и при квартире и живет себе припеваючи. Такой пример лучше всяких красивых сказок, считала мать Гюзели и потому стала всячески отговаривать дочь от неразумного шага, едва узнав,

что у нее появился поклонник. Специально приезжала посмотреть на Шафката — несколько минут было достаточно, чтобы понять: звезд с неба не хватает, такой же к жизни не приспособленный человек, как и Гюзель. «Пропадешь с ним, — сказала дочери категорично. — Да и не пара он тебе совсем».

Вот какой серьезный противник появился у Шафката там, за горизонтом, куда его любовь только-только начала заглядывать, рисуя себе светлое и радостное будущее.

О тех словах матери Гюзель он узнал случайно, но ничего не стал выяснять, а как человек благородный решил повременить, чтобы его любимая сделала сознательный выбор.

Это был, конечно, мужественный поступок, потому что вся жизнь Шафката теперь зависела от того, как скоро Гюзель даст о себе знать.

Время остановилось, как только она уехала. Шафкат ходил из угла в угол или сидел на скамейке в парке, постоянно поглядывая на часы, словно они были календарь.

И в самом деле: когда мы ждем, часы кажутся нам днями, а дни — вечностью, минуты же вообще выпадают из нашего сознания. А между тем ему тоже надо было заниматься делом: оформить документы, собрать вещи для того, чтобы ехать в дальнюю деревню начинать свою учительскую судьбу. Как отличника его оставляли в аспирантуре, но он этому соблазну не поддавался, поскольку твердо решил стать учителем и воспитывать детей.

Не было на земле более нужного и важного дела. В этом он убедился, не только читая разные умные книги, но и на собственном горьком опыте. Люди не должны страдать от того, что природа их чем-то обделила — ростом или красотой. Их надо научить быть добрыми, терпимыми к недостаткам, которые нельзя исправить...

Телеграмма пришла на второй день, в ней было шесть слов: «Встречай поезд восьмой третий вагон Гюзель». Самые лучшие, самые красивые слова, какие могли существовать в человеческом языке!

Шафкат положил телеграмму в карман, но столько раз в течение дня вынимал ее, чтобы прочитать заново, что в конце концов выучил наизусть даже непонятные цифры и буквы.

Утром, едва рассвело, он помчался на вокзал. Там народу почти не было, и дежурный милиционер, конечно, обратил на него внимание, потому что Шафкат ходил по перро-

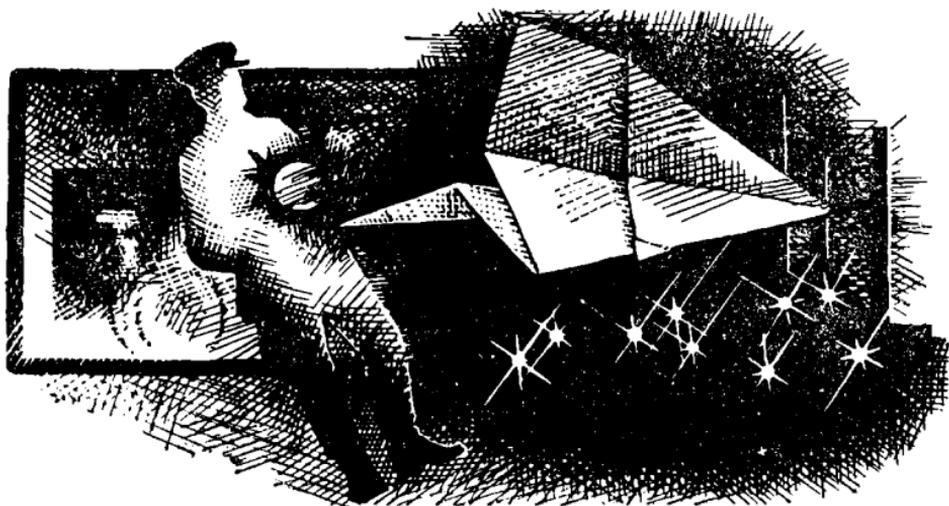
ну из конца в конец, словно вымерял длину шагами. Но когда он к нему подошел на всякий случай и увидел счастливое лицо, все сразу понял. Милиционер работал на вокзале много лет и был умным человеком: у всех счастливых людей лица одинаковые. Милиционер посмотрел на часы и сказал, что поезд уже на подходе и надо быть осторожнее и не подходить к краю платформы. Шафкат благодарно кивнул.

...Гюзель шла к нему навстречу с маленьким чемоданчиком, а он стоял и смотрел, как она идет — самая красивая девушка на этой планете. Она была высокая, статная, и хотя была на высоких каблуках, которые делали ее еще более высокой и стройной, он протянул к ней руки, не обращая внимания на людей, и обнял, и почувствовал себя большим и сильным, способным защитить ее от любых бед и невзгод и пойти вместе с ней туда, за горизонт, где параллельные дороги, говорят, обязательно пересекаются, а время становится пространством и наоборот.

Но это совсем другая история, и не будем ее рассказывать, потому что наши герои уже вышли на привокзальную площадь и направились мимо автобусной остановки вверх по улице, ведущей в город. Им, конечно, есть о чем поговорить: три дня — срок небольшой по общим меркам, только у любящих мерки совсем иные, кто будет с этим спорить?

Право, не знаю, но, думаю, всем смотрящим им вслед они казались прекрасной парой. Да и у кого повернулся бы язык сказать, что они не подходят друг другу по росту. Любовь выпрямляет — сказал один знаменитый классик, и он совершенно прав. И как хорошо, что она наделяет людей другим зрением, давая им возможность увидеть друг в друге собственное отражение.

Может быть, это и есть счастье?



ПУЛЯ

В этом году весна была холодной. Только в начале марта слегка потеплело и пошел нескончаемый мокрый снег вперемежку с дождем, с севера дул упрямый пронизывающий ветер.

В один из таких дней и выписался из больницы Сагит Рахимов, бригадир монтажников из строящегося неподалеку рабочего поселка.

Выйдя на улицу, он взглянул на небо. Там, обгоняя друг друга, плыли лохматые, серые тучи. Хорошо еще не было ни снега, ни дождя, а то вряд ли решился он добираться своим ходом до поселка — как-никак, десять все-таки километров!

Шофер, с которым договорился на больничном хоздворе, довел его до ближайшей деревни и дальше ехать отказался: заупрямился, и ни в какую! Жена больная дома, дети одни и прочее...

Сагит чертыхнулся — надо же так промахнуться! — и пошел по грязной улице деревни в другой ее конец, чтобы там выйти на старый большак, ведущий к поселку. Иногда оглядывался с надеждой — вдруг да найдется какой сумасшедший, который едет в ту же сторону?

Таких, естественно, не оказалось, и он, застегнув пальто на все пуговицы, спрятав руки в карманы и укрыв лицо поднятым воротником, зашагал краем дороги.

Главврач больницы говорил Сагиту: «Подожди еще денек. Завтра после обеда наша машина пойдет в поселок, чего ты суетишься?» Но Сагит уже решил не ждать: завтра — это завтра, до него еще дожить надо! Не остановили его и сетования лечащего врача по поводу того, что не закончил курса уколов. Чувствовал он себя сносно: голова уже не кружилась и не тошнило.

Главврач пошутил на прощание: «Ну и наскучал, видать, по жене своей! Прямо невтерпеж!»

Сагит не стал объяснять, почему он так торопится домой. В двух словах всего и не скажешь. Хорошо врач — человек понятливый. Наверное, в глазах у Сагита прочитал, что не только к жене торопится, потому и выписал без лишних проволочек.

Вот и идет он теперь в свой поселок краем дороги, где снег еще не успело развезти и нет такой грязи, как в деревне.

Сагит на короткое время останавливается, чтобы оглядеться. Но вокруг одна и та же унылая картина: серо-грязный, неряшливый снег, лес чернеет вдаль, столбы бегут за горизонт, позванивая туго натянутыми проводами. Деревня уже куда-то пропала, словно присела и притихла за взгорком.

Он взглянул на часы: всего половина пятого, а из-за тяжелых, мрачных туч, затянувших плотно небо, сумеречно и тоскливо.

Сагит зашагал быстрее. Если и дальше держать такой темп, дотемна можно добраться до дома.

Конечно, если бы он сообщил о том, что его выписали, за ним бы обязательно прислали машину. Только их и так не хватает на стройке, зачем же зря гонять? И потом, ему захотелось заявиться домой сюрпризом. Вот будет радость детишкам! Нафиса писала: «Сначала они все время забывали, что ты в больнице, и ждали каждый вечер. А когда привыкли, стали приставать с вопросами: когда да когда придешь? Садимся ужинать, стул для тебя ставят и никому садиться на него не позволяют: «Это папино место!»

Сагит сам так по ним всем соскучился, что даже в глазах щиплет. И душа, и руки привыкли каждый вечер после работы брать на колени близняшек, возиться с ними, лохматить их мягкие волосенки. Хорошо хоть одна из медсестер иногда приводила с собой на работу дочурку — ровесницу его мальчишек. Такая же крохотуля и болтушка! Сагит иногда подзывал ее к себе, давал что-нибудь вкусенького

и осторожно гладил тяжелой, мозолистой ладонью по головке, лаская.

Он знал, что едва переступит порог, пацаны облепят его со всех сторон и радостно заголосят: «Папка приехал, папка приехал!» И Нафиса будет улыбаться счастливо, наблюдая за их возней в прихожей.

Когда он по работе отлучается на пару-тройку дней, ребята его от окна не отходят — ждут! А сейчас целых три недели отсутствовал — шутка сказать! Да и на шахте, наверное, уже заждались: начался монтаж воздухоочистителя, и Сагита вдруг осенила интересная идея.

По проекту под этот агрегат необходимо было подводить мощное бетонное основание. Размеры и масштабы его просто устрашали. «А что если уменьшить? — подумал Сагит. — Вибрацию можно погасить специальным приспособлением в виде рамы».

Начальство сильно засомневалось: выдержит ли такую махину облегченное основание?

Сагит настоял на своем, и вскоре было дано добро. Но в тот же день он вместе с тремя рабочими из своей бригады попал в больницу.

Он рассказывал ребятам, как должна выглядеть рама. Но на чертеже показать ее не успел. Запомнили ли они то, что он говорил? Сделали ли рамы, как положено? Ведь если она окажется слабой, основание, действительно, не выдержит вибрации.

Придя в себя в больнице, Сагит в первую очередь подумал об этом.

Шли дни, и беспокойство перерастало в сомнения, а те, в свою очередь, — в боязнь: сварят раму не так, и все пойдет насмарку! Бог с ней, с идеей — сама по себе не ахти какая оригинальная. Но уж коль скоро принялись ее реализовывать, тут каждая мелочь приобретает особое значение. Закрепят, например, плохо раму и выбросят на ветер многие тысячи рублей, а главное — будет потеряно драгоценное время. Этого никак нельзя допустить!

Через несколько дней, едва почувствовав себя лучше, Сагит с трудом поднялся и, держась за стену, вышел в коридор. Увидев его, всполошилась медсестра, сидевшая в другом конце.

— Куда вы? — спросила она, подбежав и пытаясь поддержать его. — Вам нельзя ходить. Сейчас же возвращайтесь в палату!

— Мне надо срочно позвонить в поселок, — сказал он,

но не бороться же с девушкой! Ему пришлось подчиниться.

Он попросил позвать врача.

Врач хмуро выслушал просьбу и категорически запретил вставать. И посоветовал к тому же не волноваться. Только разве мог кто-нибудь остановить Сагита, когда он решил что-то сделать? После долгих споров ему позволили наконец позвонить в поселок. И хотя находился он от него в пятидесяти километрах, говорить пришлось почему-то через Уфу, и Сагит ничего не сумел толком сказать. Голоса ребят с участка то исчезали, то появлялись, вдобавок мешал писклявый женский голос, поющий черт знает о чем. Сагит так и не разобрал, что кричали ребята. А прощальный вопль: «Все хорошо, выздоравливай!» — никак не мог его успокоить. И тогда он засел за письмо домой.

В первую очередь, конечно, передал пламенный привет своей Нафисе и детишкам, сообщил, что страшно соскучился, и, чтоб порадовать пацанов, нарисовал им гуся, машину и собачонку. Черкнул и записочку для передачи своей бригаде: снова подробно объяснил, что надо сделать, чтобы не допустить вибрации облегченного основания. Не скрыл и того, чего сам больше опасался.

Через неделю пришел ответ от Нафисы. Она сетовала, что не может навестить его — распутица, да и детей не на кого оставить. «Письмо твое получили утром, — писала Нафиса. — Ребята заставили меня прочитать вслух. Потом долго разглядывали рисунки, чуть не подрались, споря, кто это — гусь или индюк?»

В конце длинного письма она сообщала, что записку передала, но что сказали ребята, как идут там дела — о том ни слова.

Пошла уже третья неделя, как Сагит лежал в больнице. Он чувствовал — идет на поправку — и больше писем не писал, в поселок не звонил. Ждал терпеливо, когда можно будет наконец смываться отсюда.

«Скоро, скоро! — заверял его главврач. — Вот у ребят твоих дела похуже». И оказался прав — его выписали, а они остались. Дней на десять еще, если, конечно, не проявятся какие-то осложнения.

Честно говоря, все они еще легко отделались. Могли ведь и погибнуть. Хорошо, не растерялись! Теперь многие называют его, Сагита, героем. И Нафиса писала, что только об этом и говорят в поселке. Преувеличивают, без сомнения, потому что и другой кто на его месте поступил бы

так же. Но все-таки приятно, когда люди тебя хвалят. Себе-то уж можно сказать так!

Когда он кинулся спасать товарищей, ни о каком героизме и думать не думал. И о том, что погибнуть может, тоже. Надо было выручать попавших в беду людей — какие уж тут мысли?

Это сейчас, спрятав нос в воротник пальто, можно идти и спокойно размышлять. И вспоминать разную разность. Вот, например, то, как встретился четыре года назад с Рахматуллой-бабаем, который сыграл, сам того, может, не зная, огромную роль в его жизни. После разговора с ним он и ушел вдруг с третьего курса института и приехал в этот поселок. Еще неизвестно, как сложилось бы все, не сделал он тогда такого решительного шага. А теперь занят настоящим мужским делом, и никаких тревог по поводу того, что время летит понапрасну, давно уже нет. Они там, в студенческой поре, остались. Может, это и есть счастье?

Не все, конечно, гладко шло. Его многие тогда не поняли. И Нафиса не поняла: сначала наотрез отказалась ехать куда-либо из города. Да и зачем, спрашивается, ни с того ни с сего бросать учебу и мчаться неизвестно куда? Потом, поостыв, спросила:

— А там хоть кинотеатр есть?

— Нет. Там ничего пока нет.

Она удивленно посмотрела на Сагита: мол, чокнулся ты, дорогой!

Он попытался ее уговоривать, а через полчаса, поняв, что бесполезно, рассердился. И они впервые за полгода после женитьбы по-настоящему поссорились.

Много позже Сагит понял, как он был не прав. Ему даже в голову не пришло тогда, что надо посвятить жену в свои планы, объяснить как-то причины столь неожиданно-го решения, ломающего всю их жизнь. Ну, сказать хотя бы, что тянет неудержимо к настоящему делу, что начинать следует всегда с самого начала и там, где пока ничего нет, что он совсем не думает бросать учебу — просто перейдет на заочное отделение... Да мало ли что можно было сказать любимому человеку, если хочешь, чтобы он тебя понял и вместе с тобой поехал?

Была и другая причина, которая толкала его уехать из Уфы.

После свадьбы они стали жить у ее родителей: семейным студентам места в общежитии не давали, а снять где-нибудь комнату — этому решительно воспротивилась На-

фиса. «У нас трехкомнатная квартира, — сказала она обиженно, — и нам с тобой родители отдают целую комнату. Чего ты, в самом деле?»

Словом, Сагиту не хватило упорства, и он не стал спорить.

Родители Нафисы относились к нему хорошо, но он никак не мог привыкнуть жить свободно в чужом доме.

Может быть, это и была самая главная причина, ускорившая принятие им решения: если нельзя жить в общежитии и нельзя снять комнату, значит, нужно сделать так, чтобы проблема исчезла сама по себе. Рубить надо узел! И чем быстрее, тем лучше. Тем более тесть уже начал заговаривать о том, что следовало бы позаботиться заранее, чтобы после окончания института остаться в Уфе. Сагит ответил, что поедет работать, куда пошлют, но тесть и ухом не повел — сделал вид, что не расслышал или не понял. Вот тогда и пришла впервые в голову мысль, не дожидаясь очередного его благодеяния, перевестись на заочное и уехать подальше. Но Нафисе он об этом не сказал, потому что еще и сам не был готов к серьезному разговору. Зов, прозвучавший в душе, пока не обрел конкретных очертаний и воспринимался скорее как тоска по чему-то неопределенному в неизвестных краях.

Но наступил день, который сразу дал исчерпывающий ответ на трудные вопросы: «Ехать или не ехать? Если ехать, то зачем? Как жить дальше и во имя чего?»

Вот почему, вспоминая тот день, когда произошла встреча с Рахматуллой-бабаем, он не хотел считать его чистой случайностью. Конечно, рано или поздно и сам бы нашел тот путь, который подсказал ему старый металлург. Однако разговор с ним произвел в душе Сагита такой переворот, что после только и оставалось, как собирать вещи и мчаться на вокзал или в аэропорт.

В тот памятный день Сагит освободился от занятий раньше, а у Нафисы была еще одна лекция. Ему не хотелось одному возвращаться домой, и он пошел в парк, где у них был любимый уголок.

Неяркое осеннее солнце, пробиваясь сквозь желто-зеленые листья деревьев, пятнило асфальт. На скамейках сидели пожилые люди, неспешно беседуя друг с другом. Звонко перекликались ребяташки, бегая по пожухшим газонам.

Вид осеннего парка всегда вызывал в душе Сагита какое-то странное чувство: не боль, не радость — нечто среднее, когда вроде бы и радоваться нечему, и тосковать не-

зачем... Грустно было, в общем, Сагиту, и мысли в голову лезли неподходящие. Хотя почему неподходящие? Осень все-таки. Время увядания... Но в его годы думать об увядании не пристало. Он это понимал и потому, быть может, чувствовал себя еще более паршиво.

Какой-то мальчуган, присев рядышком, сопел над бумажным листком и пытался сложить голубя.

Сагит подозвал его к себе и показал, как надо делать и голубя, и самолетик.

Счастливый, тот побежал по аллее, размахивая бумажной игрушкой.

— Не братишка твой? — спросил старик, сидящий на другом конце скамейки.

— Нет, — сказал Сагит чуть удивленно. — А почему — братишка?

— Сейчас не часто такое увидишь, к сожалению, чтобы молодой человек ребенка порадовал вниманием, — улыбнулся старик. — Вон какой радостный побежал!

Так и завязался разговор с Рахматуллой-бабаем, недавно приехавшим сюда из Магнитогорска. Жену его положили в больницу, и он очень за нее переживает, не знает, куда себя теперь девать.

— Здоровье беречь надо. И для работы, и для жизни, — говорил он серьезно. — В старости это хорошо понимаешь, когда уже здоровья никакого. Вот у нас тут и квартира, и мебель, а зачем все, если старухи моей нет? Вещи людям не собеседники.

Ему лет семьдесят. Волосы седые, оттого и лицо кажется темным. Одет опрятно, чисто.

— Сожалеете о чем-то? — спросил Сагит, проникаясь вдруг чувством жалости к одинокому старику.

— Есть и сожаления, — спокойно ответил тот. — Немало пустых дней прожил, хотя, в общем-то, считаю, жизнь сложилась правильно. Строил Магнитку, Новокузнецк, полвека почти с этими городами у меня связано. И сейчас не стыдно по улицам там пройти. Хорошо знать, что не зря все было. Среди нас, стариков, тоже разные есть. И такие, которым вспомнить нечего. Сидят по домам, со старухами своими ругаются или анонимки строчат. А тоже ведь — поколение борцов-победителей.

Он усмехнулся и покачал головой, как бы соглашаясь с самим собой.

— От такого греха уберег меня, видать, бог, хотя я и сроду верующим не был, — продолжил он. — Нет, не бог,

конечно! Вот это, наверное... Раз уж зашел у нас о том разговор, покажу тебе свое сокровище. Мало кому показываю, а тебе вдруг захотелось. Не помог бы мальчишке, не показал.

Рахматулла-бабай достал из кармана тоненький сверточек, завернутый в белую бумагу, бережно развернул и протянул Сагиту картонную книжицу небольшого формата.

— Подлинник хранится в музее. Это — копия, но для меня все равно что настоящий. Взгляни!

Сагит раскрыл книжицу и прочитал вслух: «ВКП(б)».

— Это партийный билет, — взглянул он удивленно на старика. — Старого образца.

— Да, партийный билет моего друга, — подтвердил старик.

Сагит стал смотреть дальше. Взгляд сразу остановился на не очень приметной дырке с размытыми темными краями.

— Пуля, да? — спросил он, поднимая глаза на старика. И тут же подумал, что пуля пробила не только билет, но и чье-то сердце.

— Пуля! — подтвердил Рахматулла-бабай. — Из кулацкого обреза. Сначала мы с другом моим вместе в одной деревне работали — колхоз организовывали, потом его решили перебросить в другое село. Там беспокойно было — кулачье всюду орудовало. Накануне отъезда ему записку подкинули: «Приедешь, в первую ночь пристрелим!» Они думали, его испугать можно. Но он порвал бумажку, обнял меня и поехал. Даже мысли не было, чтобы остаться, охрану какую-то попросить. Он весь в этом проявился, весь — до донышка! И его, действительно, в первую же ночь убили. Я туда сразу же выехал, как узнал. И партийный билет, пулей пробитый, в руки первым взял. И сохранил, хотя его, конечно, надо было в райком сдать. Но я не отдал. Он со мной где только не побывал! Недавно выпросили для музея. Вот там ему место! Чтоб смотрели молодые и вспоминали тех, кто за общее наше дело жизни не жалел. А то забывать начали. Далекой историей кажется уже. Ты посмотри, он же, друг мой, молодой был, твоих лет, а то и поменьше!

Сагит снова раскрыл билет. С выцветшей фотографии на него смотрел строго и, казалось, вопросительно совсем еще мальчишка. Год рождения — 1912-й. Время вступления в партию — 1930-й. Восемнадцать лет! Бог ты мой, только восемнадцать! И он один едет в село, в котором его ожидает кулацкая пуля. Едет, хотя знает, что почти наверняка

убьют! Вот что поразительно. Уверенность? Чувство долга? Презрение к смерти? Вызов? Подчинение приказу? Безрас- судство?

— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, — сказал старик. — И я о том много думал. Зачем он поехал, так?

Сагит кивнул.

— И знаешь — зачем. Вернее, почему? Потому что га- ких вопросов в те годы не задавали. На до! — Рахмагулла- бабай выделил это слово. — Вот и все резоны. Надо — ре- волюции, надо — народу, надо — тебе лично. Простая и ве- ликая правда и логика революционной борьбы. А теперь, считаешь, слово «надо» уже не звучит?

— Почему? — пробормотал смущенно Сагит. — Когда, действительно, надо, тогда кто же не поймет, что надо...

Он вдруг запутался и замолчал.

— То, что я сказал, — моя правда, — проговорил старик чуть брюзгливо. — Правда нашего поколения, если быть точным. А еще вернее — лучших из нас. Вам же необходи- мо всегда помнить об этом и искать свою собственную прав- ду. Правду своего поколения. Вот тогда вы не просто по- вторять нас будете, а дальше путь пробивать. Оттого что вы наши лозунги своими сделаете, вы ни умнее, ни энер- гичнее не станете. Заговорили многое, на цитаты раздерга- ли, будто в том все дело! И готовитесь вы сейчас к так на- зываемой самостоятельной жизни чуть ли не двадцать лет, а работать толком не многие из вас умеют. Вот и подумай — почему? А я пошел старуху свою проведать. Уж извини, если что не так... Ты мне понравился — мальчишке помог. Это — хорошо...

Он старомодно поклонился Сагиту, встал со скамейки и пошел, горбясь, к выходу из парка.

Поселок, куда приехал Сагит пока без жены, строился для рабочих медного рудника. Залежи руды здесь были открыты сравнительно недавно, и поселок не имел даже на- звания — строители жили в палатках. В палатках же оби- тали и шахтеры, потому что и строительство, и пробивка штреков шли одновременно, как это водилось и раньше, да и теперь еще кое-где практикуется. Съехавшаяся сюда мо- лодежь с разных концов страны привычно мирилась с не- удобствами бивуачной жизни, хотя проблем возникало мно- жество и не все из них решались должным образом. Но постепенно поднимались дома, семейные получали жилье в

первую очередь, жизнь медленно и неуклонно налаживалась.

Сначала Сагит поработал разнорабочим, потом его включили в бригаду монтажников. А дальше все покатилося своим чередом, как у большинства молодых людей, сорвавшихся с насиженных мест в поисках счастья, романтики, настоящего дела. Были, конечно, и такие, что гонялись за длинным рублем, но тут для них вождеденные оmutа, что называется, оказались не рыбными.

Первые недели Сагит еле дотаскивал ноги до палатки и спал мертвецким сном, чтобы утром, едва шевеля окаменевшими от усталости руками, вновь браться за опротивевшую совковую лопату и кидать грунт, как тут говорили, «подальше и почаще». Не раз и не два вспоминал он веселую и беззаботную жизнь в городе, и тещины пироги вспоминал, и тесть не казался таким занудным ловчилой со связями... В письмах к Нафисе, которая ждала ребенка, он старался избегать конкретных реалий своего житья-бытья, но она умела читать между строчек и в ответных письмах давала понять, что раз уж взялся за гуж... И он был ей благодарен за поддержку, мысленно укоряя себя за то, что когда-то сомневался в ее преданности и даже — подумать только! — собирался разводиться из-за того, что она не последовала сразу за ним.

К моменту, когда родились сыновья-близнецы Азат и Айрат, подоспело его назначение бригадиром монтажников, вскоре он получил и квартиру — небольшую, в не очень опрятном панельном доме-скороспелке, но это была его квартира, и Сагит прыгал до потолка от радости. Новоселье праздновали уже всей большой семьей вместе с членами бригады — здоровыми веселыми ребятами, сплошь пока холостыми-неженатыми: пробкой, вылетевшей из бутылки шампанского, как из пушки, разбили единственную лампочку в квартире и сидели потом при свечах, как аристократы в восемнадцатом веке.

А потом случилась беда.

В тот день бригада Сагита работала во вторую смену. Как обычно, они разбились на две группы — так было удобнее и производительнее. Первая осталась наверху готовить оборудование, а вторая во главе с Сагитом спустилась в шахту.

Их было пятеро, и они шли гуськом, низко наклоняясь, чтобы не задевать касками неровный потолок штрека. Обычный сырой запах шахты, смешанный с острым душком

машинного масла, не внушал никакой тревоги. И в то же время какое-то смутное беспокойство вдруг охватило Сагита. Он был замыкающим и чуть приотстал, а когда луч его фонаря осветил идущих впереди, он даже глазам своим не поверил: ребята медленно, один за другим падали на землю.

Взлетал луч за лучом, звякала каска за каской... Как в замедленном кино. Или как во сне.

Это был газ.

Видимо, он скопился в той выемке, куда не дошел Сагит. И не дошел четвертый — он уже бежал навстречу Сагиту, колотясь каской о потолок штрека. Глаза у него круглились от ужаса.

— Там! — только и крикнул.

— Быстро к стволу! Звони наверх, вызывай спасателей!

Сагит толкнул его в спину и начал лихорадочно вытягивать из-под ремня брюк подол рубашки. Рванул изо всей силы, обмотал куском рот и кинулся вперед. Что было дальше, он сам помнит смутно. Конечно, он ничего бы не смог сделать, если бы не дверь во второй штрек, которую счастливо заметил и успел открыть. И дотащить до нее первого — он был ниже всех и наглотался больше. Второго он сумел только выволочь из выемки, и тот пришел в себя на какое-то мгновение, глотнув свежего воздуха. А потом Сагит сам потерял сознание. Его нашли под третьим парнем, которого он, видимо, пытался приподнять и не смог. Им обоим повезло — они оказались значительно выше основной концентрации газа, и воздух из второго штрека поступал непрерывно и беспрепятственно... И еще — помощь пришла очень быстро, буквально через несколько минут: спасатели совершенно случайно оказались в этот момент рядом, у лифта. Они проводили учебное занятие.

Вот какими везучими оказались Сагит и его ребята!

Идти оставалось совсем немного, но темнело еще быстрее. И Сагит ускорил шаг — мало удовольствия шлепать по грязи в темноте!

Ну, вроде бы и тот холмик, с которого уже виден поселок.

Оказалось, что ни с того, ни даже с третьего никакого поселка не то что не видать — намек даже нет.

Нетерпение мешало шагать размеренно и напористо, как ходят обычно люди на большие расстояния, и Сагит перестал загадывать.

Просто шел и думал.

Он продолжал размышлять и тогда, когда показались огни поселка, потом потянулись захламленные окраины с развороченной бульдозерами землей, черными пустыми бочками из-под бензина, разбитой тарой, в которой привозили различное оборудование, разбазаренным старым грузовиком без колес и со смятой кабиной...

Все это Сагит, конечно, подмечал, узнавая, привычно не раздражаясь при виде безобразных отходов производства (свидетельство того, что разгильдяям по-прежнему живется привольно).

А у телефона-автомата он остановился сразу. Словно только о нем и думал, когда торопливо шел последние два километра.

Помощник по бригаде даже ошалел от удивления, услышав его голос.

— Ты? Откуда? Отсюда? Ну, ты даешь!

Сагит терпеливо ответил на все вопросы и спросил:

— Как рамы?

— Нормально, бригадир! Мы их уже приладили.

— Как приладили? — не поверил Сагит.

— Очень просто, по твоему методу, можно сказать, — нашлась идея.

— Что за идея? Не тяни kota за хвост, я же на улице стою, ноги мерзнут.

— А-а... Я думал, ты из дома уже. В общем, упростили мы все: чтобы не было вибрации, между машиной и основанием положили толстую резиновую прокладку.

— А рамы?

— А рамы тоже поставили, только полегче.

— Что значит — полегче?

— Это надо глазами посмотреть, как я тебе словами объясню?

— А ты попытайся.

— У тебя же ноги мерзнут! — голос у помощника был шутливым.

— Я потерплю. Ну?

Помощник долго и не очень внятно объяснял, и Сагит понял, что он темнит.

— Да ты не сомневайся, — закончил помощник. — Мы проверяли: никакой вибрации нет. И инженеры смотрели.

Об инженерах он сказал не очень уверенно, и Сагит это тоже заметил.

— Какую нарузку давали машине? — спросил Сагит.

Помощник назвал цифру.

— Но это же самая малая нагрузка!

— А больше пока и не требовалась!

— Что значит — не требовалась? Кому? Тебе или машине? Или, может, твоей резиновой прокладке?

Помощник молчал.

— Ты меня слышишь?

— Слышу, — откликнулся тот и вздохнул.

— Кто это все придумал? Ты?

— Все придумывали.

«Значит, он», — подумал Сагит, и ему захотелось посмотреть помощнику в глаза. Ну, просто до смерти захотелось!

— Думал, я не скоро выйду, да? — он не сумел справиться с голосом и почти заорал.

— Мы хотели как лучше, — помолчав, ответил помощник. — И потом, нас торопили. Меня два раза вызывали на ковер.

— Премию ждете?

— Обещали... — помощник говорил так тихо, что Сагиту пришлось напрягать слух.

— Мои поздравления после, ладно? — сказал Сагит презрительно и повесил трубку.

Он вышел из кабины и глубоко подышал холодным воздухом, чтобы успокоиться.

Он ждал чего угодно, но только не этого.

Ему всегда думалось, что он хорошо знает своих ребят. И лучше всех, казалось, знал своего помощника, с которым дружили семьями.

Он понимал, как и что тут произошло.

Но он вспомнил вдруг Рахматуллу-бабая и партийный билет, пробитый пулей.

Такая маленькая, такая ничтожная дырка!

Прямо посередине страниц.

И выцветшие пятна крови по краям.

Почему именно сейчас, после разговора с помощником, после того, как узнал, что произошло здесь, пока валялся в больнице, вспомнил он о старом металлурге, его погибшем друге и партийном билете, пробитом пулей пятьдесят с лишним лет назад?

Видимо, существовала какая-то связь между всеми этими событиями.

И между тем что он должен будет завтра сделать и сделает, несмотря ни на что.

Даже если придется остановить шахту.

Вот что он знал совершенно точно и, выйдя из телефонной будки, глубоко вдохнул холодный воздух; посмотрел на небо, словно там, за многослойными облаками, можно было разглядеть звезды или еще чего-нибудь такое же таинственное, и пошел домой, где его никто сегодня не ждал, но где все равно будут рады и счастливы, что он вернулся наконец домой.

Он шел по слабо освещенным и не очень ровным улицам поселка, между похожими друг на друга пятиэтажными домами, в которых уже светились окна, мимо высоких уродливых сугробов, наваленных по обеим сторонам дороги, с торчащими из них жалкими палочками-веточками пятилетних тополей, мимо редких, покачивающихся на ветру фонарей с неверным желтым светом, мимо единственного на весь поселок газетно-журнального киоска, чье открытие было воспринято всеми как приобщение их крохотного поселка к великому сообществу городов страны, мимо родильного дома, где раз в неделю появлялся новый гражданин, в чье свидетельство о рождении вписывалось название поселка, которого, может, и не было еще на карте...

Сагит шагал по первой улице, появившейся на пустом еще совсем недавно месте, и смотрел на все как человек, кто в ответе здесь за каждый дом, каждый тополек, каждое окно, светящееся в ночи...



ЗАЧЕМ?

— Я туда не поеду, — сразу сказал Камил, услышав название деревни, куда направляли концертную бригаду.

— Ты что? — от удивления Заки Галимович даже при-
встал с бархатного кресла.

«Любишь ты шиковать», — подумал Камил и сказал:

— Найдите кого-нибудь другого...

Когда Заки понял, что не ослышался, ему даже интересно стало, что Камил может такое сказать.

— А почему? — осторожно, даже ласково спросил он.

— Не поеду, и все. Другого ищите...

— Я так буду искать, что тебя в самый последний ресторан не примут, — весело сказал он. — Ты кто? Марио Ланца?

«...Самое поразительное и неприятное, что все гнусные слова он выговаривает умильным голоском», — думал Камил, уже трясясь в «пазике» и с ненавистью вглядываясь в приплюснутую, с торчащими ушами, головку Заки, сидящего на первом сиденье.

Закончив свою программу, Камил сорвал галстук, сунул его в карман и через запасной выход выскочил на крылечко позади клуба. Только здесь, в полной темноте, вздохнул он с облегчением: в этот раз пел, не слыша, не чувст-

вужа свогэ гогоса, и толькэ по аплодисментам в залэ понял: все прошлэ нормальнэ.

Но и на задворках клуба, возле угадывавшейся во мгле ограды, за которой тяжело дышала и жевала корова, ему было не по себе. Как будто до сих пор из полутьмы небольшого зала на него смотрели колючие глаза, и только слепившие лампы по краям сцены не позволяли ему различить, чей это взгляд...

Над землей уже повисла августовская ночь, высоко-высоко, в самой глубине неба, мигали искорки звезд, желтыми точками светили редкие огни в деревне.

«Все пришли в клуб», — догадался Камил.

— На этом, дорогие друзья, разрешите считать наш концерт, посвященный замечательным труженикам села с таким поэтическим названием Белые Вечера, оконченным! — донесся до него со сцены торжественный голос Заки Галимовича. Эта сакраментальная фраза, прозванная в филармонии «стоп-машина», всегда вызывала у Камилы ощущение расслабленности и облегчения. Но на этот раз напряжение не спадало, наоборот, пока шла до оскомины знакомая программа, Камил был уверен в себе и как бы защищен, а теперь остался один на один с деревней...

— Ребята, где мы ночуем? — спросил он, заскочив за кулисы после выступления.

— Кажется, остаемся здесь, ты у Заки спроси.

Обычно они успевали выступить в двух-трех деревнях, но пока пробирались к этим самым Белым Вечерам по размокшей дороге, наступили сумерки, второго концерта они теперь дать, конечно, не успели бы, возвращаться по такой темени в город не было даже надежды.

Значит, ночевать тут, в Белых Вечерах.

«Сейчас...» — подумал Камил, и в следующий момент шум и говор повалившего из клуба народа сломал тишину, улица осветилась и ожила. Рокот мотоциклов разбудил воздух. Желтый свет фар просверлил улицу, мазнул по серым домам, застывшим березам. Какой-то лихач сразу рванул на мотоцикле так, что через несколько секунд его было слышно уже с другого конца деревни.

Камил расстегнул воротничок рубашки.

Полная темнота возле крылечка, а ему все кажется, что он стоит на ярко освещенной сцене...

«Так совсем можно свихнуться», — решил Камил и пошел в клуб за кулисы.

— Слушайте, ребята, — начал было он, но тут же все

захохотали, показывая на него, и Камил, не понимая, в чем дело, уставился на них.

— Вот он, смотрите, живой и невредимый!

— Заки Галимович уже второй раз собственноручно под сценой прополз, говорит, хотя бы тело найти!

— Да что там Заки, Ляля уже волосы на себе рвет! — с деланным возмущением вступился Лева — бас-гитара из эстрадного ансамбля, а по совместительству баянист-аккомпаниатор Камила при исполнении народных песен. — Мы ее успокаивали-успокаивали, в худшем случае, говорим, какая-нибудь местная красавица выкрала нашего Челентано, завтра утром вернет живым.

— Прекрати трепаться! — неожиданно для себя самого заорал Камил, и все с недоумением на него посмотрели: обычно после концерта подолгу не смолкали и не такие шутки.

Камил это ощутил и не знал, как сгладить невольную резкость: они-то при чем?

— Ребята, здесь ночуем сегодня, что ли? — виноватым тоном спросил он, и все поняли, что сорвался случайно.

— Слушай, ну до чего ж ты любишь поспать! — опять подхватил бас-гитара, как будто не слышал выкрика Камила. — Весь вечер сегодня баиньки просится!

— Ребята, а я сегодня не усну! Посмотрите, какая ночь! — Ляля, отвлекая внимание от Камила, вышла в это время на крыльцо, где он недавно стоял, и откинула голову назад. Она как была в пуантах и гимнастическом трико, так и выскочила в темноту, только чей-то платок набросила на плечи. Ее фигура растаяла в темноте.

Тут появился сам Заки Галимович: маленький и круглый, как бочонок, он стремительно шел по сцене, успевая на ходу поправить футляр саксафона, съехавший вбок у спинки стула, дать распоряжение рабочему сцены и одновременно барабанщику Володьке — единственному своему подневольному, улыбнуться куплетисту и балалаечнику Нурпенсову — зятю директора республиканской филармонии и одновременно с умильной и снисходительной доброжелательностью столичного артиста обнимал незнакомого мужчину средних лет, которому явно жарко было в черном костюме с широким галстуком.

— Девочки, мальчики, — сладко залепетал Заки, быстрыми движениями пухлых рук созывая всех полиже к себе, — прошу минутку внимания. Вот любезнейший наш хозяин, парторг совхоза, Галимзян...

— Хабирахманович, — подсказал парторг и кашлянул.

— ...Хабирахманович, — подхватил Заки, как будто и не думал запинаться, а уж отчество уважаемого парторга знал лучше имени своего отца, — приглашает нас пообщаться с нашими дорогими сельскими тружениками, перекусить, отдохнуть... Но напоминаю: чтобы завтра в девять, как штык, у автобуса!

Последние слова Заки произнес визгливо: он хорошо знал своих подопечных.

«Собираться, вы, артисты!» — со вздохом воспроизвел Лева крылатую фразу Заки Галимовича.

Заки оставил Камила ждать Лялю и Гульсум — балет в паре с Лялей, частушки — с Камилом. Девушки тут же побежали переодеваться и, вернувшись, взяли Камила с двух сторон под руки.

— Мы готовы!

Когда вышли на улицу, все сидели в автобусе, становилось прохладно. Тронулись, и парторг показывал водителю, куда сворачивать. Свет фар вырывал из темноты слепые дома и серые березы. Мотор ревел, раскачивало, как при шторме.

Куда мы едем? — с возрастающей тревогой ждал Камил, но спросить не решался: пусть будет все, как будет.

«Люди сейчас переезжают так же часто, как женятся, — любимая шутка Заки. Да и прошло столько лет... С чего ты вдруг взял, что во всей деревне тебя возьмут и приведут именно в том дом?» — думал Камил, хотя не только в темноте — даже днем ни за что не узнал бы его.

— Ну вот, нам сюда, товарищи артисты, — вздохнул с облегчением парторг и смахнул пот со лба.

«Тракторами и комбайнами ему распоряжаться, наверное, проще, чем артистов устроить», — думал Камил, специально отвлекая себя и оглядывая место ночлега.

Огромный домина с освещенными окнами за палисадником и близко не походил на тот, что Камил пытался восстановить в памяти...

У него отлегло от сердца, и в то же время он словно бы и обманулся в том, в чем был почти уверен...

В доме их ждали: слышались шаги в сенцах, звякнула щеколда, и дверь отворилась.

— Добро пожаловать, гости дорогие, — в открывшийся проем вышел хозяин. Камил оторопел. В глубине души он знал, предчувствовал — это должно произойти, но теперь был ошарашен, что именно так и случилось.

Ляля и Гульсум поздоровались, прошли в сени, и на какое-то мгновение у Камил мелкнуло желание шагнуть в сторону, в темноту рядом с крыльцом. Но все уже были в доме, а перед ним стоял Ягафар-агай¹.

Отец Гульбики.

Последней надеждой, легким ветерком промелькнула мысль: «А может, он не узнал меня?»

— Здравствуй, Камил. Здравствуй, кеяу², — услышав его чистый, звонкий голос, Камил выпрямился и глянул в глаза бывшему тестю. Это было самое трудное — услышать первые обращенные к нему слова. И тяжесть, нараставшая в нем весь день, разом снялась.

— Здравствуйте, — отозвался Камил, — здравствуйте, Ягафар-агай.

— А ты изменился, — Ягафар-агай, чуть отступив, обвел Камил взглядом с ног до головы. Улыбнулся и похлопал Камил по плечу, — повзрослел.

— Скорее состарился, — так же открыто и твердо поправил Камил.

— Не подгоняй старость, она сама прискачет. Ну, ладно, давай зайдем.

Гости разбрелись по комнатам. Ляля и Гульсум уже сидели за столом, и в глазах у них было и беспокойство — где так он долго? — и смущение — ничего, что сразу же за стол?

Камил улыбнулся им и кивнул: все хорошо, а сам незаметно осматривал комнату, как будто, помимо своей воли, что-то хотел и боялся увидеть.

В этот момент из кухни вышла мать Гульбики.

Он встретился с ней взглядом — глаза грустные, в сетке морщинок, — как будто не изменились с тех пор, только добавилось седины на висках.

— Здравствуйте... — Он вдруг понял, что забыл ее имя. Но даже это не могло смутить его теперь, и так же твердо, спокойно, не прячась ни от кого, Камил сказал: — Вот забыл ваше имя, апай...³

— Имя человек сердцем помнит, — тихо сказала она и пошла к столу с чаем в руках.

Камил сел на приготовленное ему место и начал пить горячий чай из пиалы, почти не чувствуя вкуса. Ляля и

¹ Агай (башк.) — уважительное обращение к старшему мужчине.

² Кеяу (башк.) — зять, муж дочери.

³ Апай (башк.) — обращение к женщине старшего возраста.

Гульсум то ли не расслышали, что сказала мать Гульбики, то ли не поняли ничего. Остальные осматривали домотканый ковер.

— Какой замечательный новый дом вы поставили, — сказал Камил, и Ягафар-агай облегченно вздохнул: тишина, установившаяся после слов жены, его тяготила.

— Да, решил вот построить, пока силы есть. Да и сын из армии возвращается. Нам-то что... Мы могли бы в старом смерти дожидаться. А этого еще и внукам хватит.

Наконец все уселись за большой стол.

— Вы нам тут целое угощение приготовили, — улыбнулся Камил, вкладывая в эти слова всю теплоту и благодарность за такую встречу.

Ягафар-агай обрадовался:

— Да что ты, не такое уж и угощение, простой ужин.

Здесь, за столом, в присутствии гостей, он изменился, как будто вспомнил, что Камил не его бывший зять, с которым можно запросто, а артист...

Мать Гульбики тоже засуетилась вместе с мужем.

— Кушайте, кушайте, — без нужды пододвигала она блюда.

— После такого концерта проголодались, наверное, товарищи артисты, да и устали, — парторг по просьбе Ягафара-агая остался и пытался начать беседу. — В гостях, бывает, разок спляшешь, потом неделю ноги болят.

Здесь, со своими, официальность его чуть растаяла, и по тому, как он незаметно подсказывал Ягафару-агаю, когда наливать, Камилу было ясно, что люди в деревне его уважают и слушаются. Вот только галстук ослабить он так и не решился: все-таки гости из области.

— Давайте, дорогие товарищи, за хороший, даже замечательный концерт, — предложил он и чокнулся с девушками, с той же старательной осторожностью прикасаясь к их рюмкам, с какой помогал им перебираться через глубокие колеи на дороге возле дома.

Камил поднял наполненную рюмку и вдруг вспомнил, что точно так же — до краев — ему наливал Ягафар-агай, когда он приезжал в Белые Вечера с Гульбикой. Прошло столько лет, а у этих людей даже манера потчевать гостей не изменилась — и от неясной тоски Камилу ничего не оставалось, как только выпить рюмку до дна.

Ляля вопросительно посмотрела на него, Камил перехватил ее взгляд, грустно кивнул, успокаивая: все будет нормально.

Гости заметно оживились, замелькали над столом руки, все набросились на еду, будто трое суток не ели.

Второй тост всегда за Заки Галимовичем. Он дождался, когда за столом установится тишина, и, высоко закинув голову, начал декламировать:

Нет, не покину, Музы, алтарь ваш...
Истинной жизни нет без искусства, —

говорили древние...

Камил видел, что такое начало тоста особенно понравилось парторгу.

— ...поэтому мы, скромные служители этого величайшего создания человеческого гения, отдаем все силы его процветанию. Мы посвящаем его вам, — Заки повысил голос до патетической ноты, и все замерли, только худой Лева продолжал жевать: накормить досыта его было невозможно, — наши дорогие сельские труженики. Вам — наш труд, вам — наше вдохновение! — выбрасывал вперед руку Заки, и Камилу было стыдно перед парторгом, перед Ягафаром-агаем.

«Змея в сиропе», — вспомнил он прозвище замдиректора областной филармонии, а по совместительству — руководителя концертной бригады, конферансье и автора слов песен, которые с «огромным успехом встречают труженики села». Так местная печать обычно пишет о творениях «талантливого и самобытного художника слова». Почему Заки любит именно так называть себя в этих заметках, понятно.

...Парторг стянул наконец книзу узел широчайшего галстука, и сразу все в нем как-то пришло в норму.

Раскрасневшаяся хозяйка подносила к столу все новые и новые блюда. Девушки взмолились: после такого ужина завтра не смогут выступить.

— Завтра он вас так, девушки, растрясет, — Лева оторвался от ножки курицы и показал головой на шофера. — что по сцене будете летать как пушинки.

— Ничего, ничего, вам силы нужны, — парторг осмелился притронуться к плечу Гульсум: видимо, ему хотелось удостовериться, что артисты тоже живые люди, как и все остальные, из того же теста. — Честно говоря, дочки, сердце у меня сжимается, когда на вас смотрю. Ну, понятно, балет этот есть балет, но в чем у вас душа держится?

И такое неподдельное изумление и душевная доброта были в этих словах, что Ляля и Гульсум улыбнулись.

— Да почему, — вдруг вступила Гульсум, самая молодая

из ансамбля, — это же искусство, а искусство требует жертв.

— Э, дочка, любое искусство для человека, иначе смысла в нем нет, в самом распрекрасном. И для вас самих, и для нас тоже оно добром должно оборачиваться. Вот вы даже не подозреваете, — загорелся он, и глаза заблестели молодым блеском, — какую радость вы нам доставили. Вернее, даже не радость, у вас это вдохновением называется, а чтобы утром в пять встать и коров своих накормить, да вкалывать весь день — тут тоже без вдохновения не обойтись. Вот сейчас по радио — для тружеников села чего только не передают, по телевизору почти каждый вечер концерты показывают. Но сегодня к вам все наши пришли, вся деревня, потому что вы — свои, на вас посмотреть хочется близко, не по телевизору. Нам не хватает этого...

— ...общения, — подсказала Ляля и опустила глаза. Потом она чуть придвинулась к Камилу и тихонько, чтобы за разгоревшимся разговором никто не слышал, шепнула ему: — Поешь чего-нибудь...

Камил все это время, только из уважения к хозяевам, едва притрагивался к тарелке, но рюмки не пропустил ни одной, каждый раз осушая до дна. Он слышал разговор за столом уже будто со стороны, но зрение, наоборот, обострилось, и он все замечал и понимал: и как разгорелись щеки Гульсум, откидывавшей назад тяжелые косы — единственные такие в ансамбле, и как увлекся парторг, и тревожные глаза Ляли, похорошевшей в домашней обстановке — особенно грациозной и тонкой казалась сейчас ее красивая шея и собранные в узел черные волосы. Не только она открылась вдруг новой стороной в эти мгновения, но и стеснительная Гульсум, горячо спорившая с парторгом, и сам Галимзян Хабирахманович — в отличие от Заки Камил сразу запомнил его отчество, и Ягафар-агай, довольный тем, что в его доме такие гости и такой хороший и умный разговор ведет парторг.

Камил смотрел на его темные руки с узлами вен, на морщинистую прокаленную кожу над жестким воротником белой рубашки и понял, как спокойно текла здесь жизнь с тех пор, как он видел хозяев в последний раз. Как переживали они горести и радости, в том числе и все, что случилось с дочкой. Как принимали эти люди все сердцем и ни от чего не отказывались, стойко перенося все беды.

И одну такую — не самую маленькую — беду принес в их дом он.

— У нас теперь как будто даже неудобно говорить, что ты колхозник, но я везде побывал — и на флоте служил, и на стройке работал, и в Москве учился — все равно без деревни не проживем. Когда помогает жизнь туда-сюда, окажется, что крепче их вот нет, — он показал, не стесняясь, на Ягафара-агай. — Они, конечно, так не спляшут и так, как ты, не споют, — обратился он к Камилу, — для этого талант нужен. Но у них другой талант — это как у дерева: цветы — красиво, плоды — очень хорошо, но они опадают, а ствол стоит всегда. Дожди идут, холод трещит, ветер воет, а он стоит, корнями впился!

«Ну, может, Гульсум и Ляля — цветы и плоды. А эти кто? — глянул Камил на куплетиста, облившего себе рубашку и галстук. — Сорняки... А кто ты сам?..»

— Вот потому и почаще надо сюда с такими концертами, — продолжал парторг. — Я от имени всех колхозников наших говорю: приезжайте еще и начальству своему самому высокому это передайте...

«...Пустоцвет», — подумал Камил и согласно кивнул головой.

Он видел расплывающиеся лица сидевших рядом. Неужели опьянел? Нет, просто перед глазами возник вдруг родной город Сибай, к ноябрю уже утонувший в сугробах в тот далекий год...

...Снег выпал к праздникам. Первые дни после возвращения из армии Камил бродил и бродил по городу, вдыхая свежий запах этого снега, радуясь всему, что видел вокруг: суетливой толпе прохожих, занятых предпраздничными заботами, освещенным витринам магазинов, флагам на столбах и зданиях. Радость приносила даже непривычная гражданская одежда: мягкий свитер и новый костюм, которые припасла ему мать. Прихватывавший щеки морозец не пугал: Камил был молод, свободен и находился в бесшабашном предощущении настоящей жизни.

В тот день, пятого или шестого ноября, Камил возвращался домой в пустом автобусе из центра города. Улицы были тоже пустыми... Все уже сидели по домам и готовились к празднику.

А за окном все падал и падал снег — пушистый и мягкий.

На остановке в автобус заскочили две девушки. Страхивая снег друг с друга, они весело переговаривались, прыскали от смеха, и Камил невольно залюбовался разгоряченными свежим морозцем лицами, их беспричинным весельем.

— Девушки, с праздником вас! — наклонился Камил через поручень, отделявший заднее сиденье от площадки.

Они переглянулись и опять прыснули, как будто он сказал что-то ужасно смешное или несуразное.

— Давайте, красавицы, вместе встретим праздник, — скорее от смущения, чем от желания познакомиться сказал Камил.

— Ишь ты, какой быстрый! — притворно нахмурилась на него одна — в пышной шапке из лисьих хвостов.

— Вы что же, товарищи девушки, вообще не собираетесь встречать праздник? — строго спросил Камил, подражая голосу прапорщика, который плохо пришитую пуговицу считал вопиющим проявлением разболтанности.

Девушки недоуменно переглянулись.

— В общем так, — беспрекословно подвел черту Камил, — поехали со мной на вечеринку.

Почему он тогда соврал — ни на какую вечеринку не собирался и ехал домой — он не знал и до сих пор.

— Сегодня мы не можем, сегодня у нас дела, — деловито откликнулась девушка в лисьей шапке. Вторая молчала, но глаза ее тоже улыбались, и она не отводила их от лица Камилы.

— Так давайте на завтра договоримся, надеюсь, завтра вы свободны?

— Завтра? — они переглянулись, и та, что в лисьей шапке, кивнула: — Свободны...

— Тогда, — взглянул Камил на часы, — завтра в восемь вечера буду ждать вас у кинотеатра. В гости вас приглашаю.

— А которую из нас? — рассмеялась девушка в шапке, она была явно смелее своей подруги. Но та смотрела на Камилу с веселым прищуром, и он, состроив недоуменную мину на лице, махнул рукой:

— Обоих!

Вскоре девушки, попрощавшись, сошли, и Камил еще раз хотел посмотреть на них, но было уже темно. В приподнятом настроении он пребывал, пока не подошел на следующий день в условленный час вместе с другом к кинотеатру. Возле афиши стояла только одна из девушек — в вязаной шапочке.

— Вот познакомься, — представил он друга и тут только сам узнал, что девушку зовут Гульбика, — а где твоя подружка?

— Она не сможет, и я... — Гульбика смутилась, — я тоже

пришла сказать, что ко мне приехала мама из деревни. Как ее оставишь одну на праздник...

— Детский сад какой-то, — пробормотал друг Камила, — пошли к нашим, там уже ждут.

Девушка взглянула на него, а Камил, неожиданно для самого себя, улыбнулся и махнул другу рукой:

— Ты иди пока один, мы скоро подойдем.

— Только ты не вздумай мамашу еще с собой захватить, — бросил друг. — Привет!

И ушел. Они остались вдвоем.

— Ну что, так и будем стоять? — Камилу доставляло удовольствие разыгрывать уверенного в себе и находчивого человека, хотя он не знал, что скажет в следующий момент.

— А что делать? — она хотела добавить «с мамой», но постеснялась.

— Как что? Пойдем знакомиться с тещей.

— Ох, какой ты... — улыбнулась она.

— А что, — ему все удавалось легко и просто в те дни, — не волнуйся, Гульбика, — Камил тут же ее взял под руку, — отпросимся у твоей матери, мне-то уж точно не откажет.

— Ой ли? — подняла она на него глаза, и Камил успел увидеть в них ироничную усмешку.

— Не ой ли, а точно!

У Камила в тот момент, действительно, не было ни малейшего сомнения в том, что мать девушки отпустит их на вечеринку. Он тянул ее за собой, еще не зная зачем и чем все кончится. Но если бы сейчас кто-нибудь у него спросил об этом, он, наверное бы, так же беззаботно, как и все, что делал последнее время, отмахнулся.

Просто пожалел девчонку: чего ей одной на праздник со старухой сидеть, когда есть хорошая компания.

В общем-то он никогда не был расчетливым человеком, не умел ни прикидывать, ни примеряться и верил в то, что все у него будет хорошо. Шел рядом с Гульбикой, что-то ей рассказывал и совсем не думал о том, что ей сказать: знал, нужные слова всегда придут вовремя.

И может быть, из-за той же бесшабашности и уверенности в себе, в своей неотразимости, в темном переходе обнял девушку за талию, развернул ее и поцеловал в губы.

— В первый день не целуются, — испуганно произнесла она чьи-то чужие слова, и Камил почувствовал ее растерянность.

— Так сегодня же второй день, — ответил он, не раздумывая.

Камил чувствовал, что все идет как надо!

Когда вошли в комнату общежития, где жила Гульбика, свет был выключен. Первое, что бросилось в глаза Камилу и осталось в памяти — неподвижный силуэт пожилой женщины на фоне высвеченного уличными фонарями окна.

О чем думала тогда мать Гульбики? Может, у нее просто ныло сердце от городского шума и суеты, как у всякого деревенского жителя, может, гадала, как в чужом городе сложится судьба дочери...

Он подумал об этом сейчас, вспоминая. А тогда и в голову не пришло.

Он сразу громко и весело обратился к ней:

— Здравствуйте! С праздником. Меня зовут Камил, — протянул руку.

— А мама у тебя и вправду молодая и красивая, — сказал он Гульбике, как бы продолжая разговор.

— Спасибо, сынок, спасибо, — улыбнулась она и оглядела его с ног до головы.

— Мы пришли за вами. Хорошая компания. Попоем, потанцуем, повеселимся.

— Да куда мне, — засмеялась она. — Вы уж без меня повеселитесь...

— А как же ты одна тут будешь? — растерянно спросила Гульбика, переводя взгляд с матери на Камилу.

— Почему одна? Здесь людей много, и телевизор, и концерт хороший, — успокоила ее мать и снова взглянула на Камилу — с тревогой и беспокойством.

И он, перехватив ее взгляд, в ответ широко и благодарно улыбнулся.

Зачем он так настойчиво упрашивал тогда эту женщину, угощающую всех сегодня ужином? Ведь впопыхах даже рассмотреть не успел Гульбику, ни о какой любви и речи быть не могло. Зачем-то уговорил мать отпустить ее на вечеринку, зачем-то легко прошел все ступени сближения, зачем-то женился...

Еще в тот праздничный вечер, сидя рядом с Гульбикой в двухкомнатной квартире у одного из однокашников, Камил испытывал странное ощущение пустоты. Гульбика не отрывала от него глаз, а ему стало тускло все и неинтересно.

За столом напротив сидела тогда, он вдруг вспомнил, красивая светловолосая девушка, улыбалась, встречаясь с ним взглядом. Почему не она, а Гульбика стала твоей женой?

Потом в темной комнате в общежитии они были одни, и он остался.

Она не отвечала на ласки, только тихо, едва слышно говорила:

— Камил, Камил...

Потом все было — знакомства, приятное внимание со стороны знакомых и родственников, покупки в магазинах и счастье близости с Гульбикой. Через некоторое время они поехали в Белые Вечера, где жили родители невесты.

В деревне тоже был сплошной праздник, знакомство с родственниками...

Единственное, что огорчало Камилу в то время — навязчивые разговоры Ягафара-агая о будущем, о работе. Камил еще не решил, что делать, кем стать. В школе и потом в армии мечтал о музыкальном училище, пел на всех вечерах и в солдатской самодеятельности, но подступить к этой мысли тогда еще боялся.

А тут — одна тема:

— Кеяу, где жить собираетесь? Может, к нам, сюда, переедете? Дом вам поставим новый. За рекой у нас покосы. А картошку знаешь какую выращиваем? А мы вам корову отдадим, овец — штук пять, заживем, как одна семья, и Гульбике здесь работа найдется, и тебе...

Камилу, мечтавшему о том, чтобы выйти к людям и спеть им обо всем, что звенело в душе, перспектива копать картошку казалась кошунственной, и он с трудом сдерживался, чтобы не прервать размечтавшегося тестя.

Гульбика как будто заново родилась — повсюду был слышен ее смех, она вставала раньше матери и все делала по дому, к пробуждению Камилу уже была одета во все лучшее... Даже полукружья под глазами делали ее еще краше.

Они вернулись в город и прожили около месяца. Камил целыми днями лежал в комнате, которую выделили в общежитии фабрики, где работала Гульбика, изредка выходил на улицу подышать свежим воздухом, и взгляд его все больше тускнел.

«Что же дальше-то будет?» — спрашивал он себя и чувствовал, что все, к чему он стремился в жизни, невозможно из-за этой женитьбы: какие там училища, какая музыка... и главное, Гульбика перестала быть ему необходимой. А может быть, никогда необходимой и не была.

Сначала Гульбика, конечно, от счастья ничего не замечала, и эта ее ослепленность больше всего мучила и раз-

дражала Камила. Но потом и она стала обращать внимание на его тусклый взгляд и однажды приподнялась на локте, обиженно спросила: «То ли ты меня разлюбил?»

Он лежал неподвижно рядом и смотрел в белевший потолок.

— Я сам себя не пойму. Как на сцене играю роль, а зачем? Нельзя же всю жизнь играть... Может, мы совершили ошибку. Ты красивая девушка и могла бы встретить не такого, как я...

Тогда почти всю ночь монотонно тикали часы. На дворе бушевал декабрьский буран. Ветер бил по стеклу, затянутому инеем. За окном под нудную, непрерывную мелодию ветра качался фонарь, и в такт этому покачиванию скользила по стенам тень от перекрестья оконных рам. Они лежали рядом неподвижно и молча.

Спустя несколько дней Гульбика взяла расчет и уехала домой, в деревню. Только и осталась от нее записка на столе...

Гости уже улеглись спать в большом, просторном доме, а Камил сидел на крыльце и курил. Он не мог заснуть. Вскоре вышел Ягафар-агай.

— Покурим вместе? — то ли спросил, то ли сообщил гостю.

— Можно, — ответил Камил, подвигаясь на ступеньке.

Он знал, что может сказать этот старый человек. Только в этот вечер ему показалось странным, что все годы почти не вспоминал об этой истории и не знал ничего о судьбе Гульбики...

Деревня утонула в ночи. Только качался одинокий фонарь напротив. Внизу, в стороне, шуршала на камнях река. И воздух был свеж и пахуч.

— Хорошо дышится здесь у вас, — сказал Камил.

— А-а, — равнодушно протянул Ягафар-агай, который, конечно, и не замечал, какой тут воздух, и спросил: — Черненькая глазастая — жена, что ли?

— Нет еще...

— А-а, — опять протянул Ягафар-агай. — А Гульбика тоже замуж вышла, вскоре после того... — Он помолчал. — Хороший парень был, в школе за ней ухаживал. Но, видно, счастье как отвернется от бабы, так и тросом его не затянешь... Пьет сильно. Да я не жалуюсь тебе и не осуждаю. Насильно мил не будешь.

И у нас в наше время не все ладно получалось. Хозяйство, дети — не до любви бывало. А жили. Как пара быков в одной телеге — разойдутся, телега встанет. В нынешние времена по-другому, конечно. И молодежь другая. Что говорить. Сбегутся — разбегутся, а все любовь называется. А может, и любовь — кто знает... Я ведь так говорю, не в осуждение. Человек ты теперь известный. Артист! Жаль, конечно, что все так получилось... Гульбика наша тоже неплохой была...

Камил сидел молча и смотрел в темноту.

— Хорошо, что к нам приехали, а то по радио твою фамилию услышали. С матерью все спорили: ты — не ты... Хорошо поешь, душа радуется. И людям хорошо. Вот так посмотришь и не знаешь, что лучше. Тут бы остался, детьми, хозяйством оброс, может, и не пел бы. Кто тут судья... А Гульбику все же жалко — дочь ведь. Не повезло ей. И с тобой, и с этим. И вообще. Ладно, иди отдыхай.

Камил хотел что-нибудь сказать в ответ, но слова подбирались все случайные, ненужные, глупые. Да и что он мог сказать старику...

Он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку, пахнущую незнакомым, чужим запахом. И как-то незаметно провалился в тяжелый, беспокойный сон.

Утром его разбудили звонкие, радостные звуки проснувшейся деревни. Звякали ведра, чирикали воробьи. Он вышел на крыльцо, зажмурился от яркого солнца. По улице, брэнча колокольчиками, медленно шествовали коровы. Пастух покрикивал на них и постреливал кнутом.

Густой синий дым тянулся над крышами в сторону реки.

Мать Гульбики неподалеку чистила песком кастрюлю.

— Доброе утро, — поприветствовал ее Камил.

— Что так рано встал? — спросила она.

— Выспался, — сказал он, хотя в висках ломило. — Где Ягафар-агай?

— Как где? На работу уже ушел давно.

— Жаль, — сказал он искренне, потому что хотелось еще о чем-то поговорить, как будто вчера не все было сказано.

Он пошел к реке и долго бродил по холодному песку, потом подошел к старой иве, накренившейся к воде. Длинный, толстый ствол далеко выступал от берега. Сколько поколений деревенских ребят прыгали отсюда в реку...

— Живешь? — погладил Камил ствол и поднял голову.

Река неспешно текла в молочном тумане. Возле берега

проглядывало дно, усыпанное разноцветными камешками. Легким ветерком рябило воду.

Камил смотрел на медленное, завораживающее течение воды и подумал: наверное, здесь когда-то купалась и Гульбика. И вдруг почти физически ощутил время, которое протекло после этого, после той вечеринки и всего, что за этим последовало...

Ну, и что ты достиг, «известный артист»?

К чему стремился и ради чего пожертвовал многим, не только девушкой, что когда-то купалась в этой речке? Зачем-то увлек, потом зачем-то бросил. Казалось, навсегда. А жизнь взяла и вернула тебя на это место. И ты стоишь и не можешь ответить на вопрос, зачем все было...

Может быть, жизнь и есть ответ на один-единственный вопрос: «Зачем ты пришел на эту землю и зачем на ней живешь?..»



ПЕРЕКРЕСТОК

За окном идет нудный дождь. Серое небо еще с утра исчезло за его пеленой. От света фонарей и неоновых реклам посверкивают лужи на асфальте, как будто под ногами у прохожих рассыпаны стеклянные осколки. У проносящихся машин из-под скатов на мгновение вырастают водяные крылья. Перебегают дорогу прохожие с зонтиками в руках. Куда ни глянь — везде мельтешение зонтиков. Черных, прозрачных, цветных. Торопятся люди, кто зачем, пресекая друг другу дорогу, и каждому есть куда спешить — к своему теплу, уюту...

Ильдар Юлдашев посмотрел на часы: восемнадцать тридцать. Через десять минут он выйдет в промозглые сумерки и сольется с потоком машин, людей и мокрых зонтиков. И невольно подчинится дерганому ритму уличной суеты. Только ему-то куда торопиться?

Уже почти отвернувшись от окна к своему столу, он вдруг вспомнил — это было мгновенно и пронзительно, как загнанная под ноготь заноза, — что все это с ним уже было: и морозящий, бесконечный дождь за окном, и панцири зонтиков на тротуарах, и брызги из-под колес — все...

Тогда, двадцать лет назад, у него тоже оставалось ровно десять минут, чтобы наконец решиться, и чем лихорадочнее он думал об этом, тем отчетливее понимал, что положение безвыходно. Через десять минут он покинет здание инсти-

туда, перейдет небольшую площадку перед старой ажурной железной оградой, достигнет перекрестка и...

И должен будет повернуть направо или налево.

Налево или направо.

Или — или...

...Ильдар Газизович сразу вспомнил тот перекресток с низенькими деревянными домами и палисадниками — их давно уже стерли белые девятиэтажки, улицы расширены, и все как-то перекромсано вокруг съездившегося здания института, в котором он начинал...

Только вот перекресток так и остался не тронутым временем.

Тогда, на том самом перекрестке, ему и нужно было выбирать, куда пойти: налево — к Абдурахмановым, направо — к кинотеатру «Космос», где его ждала Нуралия.

Она была такой молчаливой и неприступно-гордой, что в ее присутствии Ильдар терялся и не мог преодолеть оцепенения, обручем стягивавшего обычную его легкость и простоту в обращении с девушками. Только и был способен незаметно, часами смотреть на ее освещенное сбоку лицо за стойкой и скользить глазами по строчкам книги. Сосредоточиться, понять, что в них написано, в ее присутствии было невозможно. За три месяца — с тех пор как Нуралия появилась в областной научной библиотеке — она, конечно, заметила эти взгляды и прекрасно знала его, приходившего каждый день к семи часам вечера, как на работу. Но ни разу не ответила на них, только изредка поднимала голову, осматривала полупустой читальный зал и снова углублялась в библиографические карточки на столе, как будто не было на свете занятия важнее и интереснее. Все попытки заговорить с ней, которые Ильдар обдумывал, вместо того чтобы конспектировать нудные страницы, рассыпались с самого начала от ее ровного, спокойного внимания и предупредительности: вот интересующие вас статьи в последнем номере, вот новинки книг, поступивших в библиотеку...

Часто он ждал — уже на улице, — когда погаснет свет на втором этаже в высоких окнах с закругленным верхом, и каждый раз неподвижно замирал в тени беседки, наблюдая, как легко она спускается по ступенькам и идет по узкой тропинке между двумя рядами срезанной акации. Мгновенно наступавшее оцепенение лишало его способности не только окликнуть, но даже шевельнуть рукой ей вслед.

По понедельникам он в читальный зал не ходил: по понедельникам, он знал, у нее выходной.

В то самое памятное воскресенье у него было машинное время, надо было просчитать программу. Для аспирантов институт брал у вычислительного центра самые дешевые — ночные да воскресные — часы. С утра он просидел за дисплеем и прибежал в библиотеку за несколько минут до закрытия, хоть это было бессмысленно: даже книжки не успевал выписать. Но по тому, как тревожно и резко Нуралия подняла голову на звук открывшейся двери, ему сразу стало ясно, что она ждала его, и, уже не останавливаясь, Ильдар подошел и сказал, даже не поздоровавшись, — как будто все остальные ступени сближения были ими обоими уже давно пройдены за бесконечные часы молчаливого общения в этом зале:

— Завтра в семь вечера я буду ждать вас возле «Космоса»...

Нуралия подняла глаза и несколько мгновений смотрела на него — только теперь Ильдар пришел в себя, и ему показалось, что она сейчас скажет: «Такой книги у нас нет» — или что-нибудь в этом роде — обычную библиографическую справку — спокойным, доброжелательным тоном. Но взгляд ее замер слишком надолго, и, не отводя его, Нуралия тихо качнула головой:

— Хорошо...

Юлдашев резко встал из-за стола, взял плащ и шляпу из скрытого в стене гардероба и грузно пошел по ковровой дорожке через приемную.

Ему хотелось как можно скорее вырваться на улицу.

— Домой? — повернул голову водитель Равиль, обеспокоенный, хоть и старался не подавать виду, тем, что шеф вышел чуть пораньше: такое случалось редко и обычно сулило поездку куда-нибудь по делу.

Юлдашев утвердительно кивнул головой и сжался на заднем сиденье. Он привык ездить на этом месте, но сейчас не хотелось, чтобы кто-то, даже такой доверенный человек, как Равиль, мог видеть его лицо в широком зеркальце, и отвернулся к окну, вглядываясь в мокрую темень...

Той ночью перед свиданием он физически ощущал, как медленно текут секунды, и — как только представлял,

сколько их осталось до завтрашнего вечера, — мучился: вытерпеть до конца ему казалось невозможным. Долго не мог заснуть, крутился на скрипучей кровати в маленькой комнатке аспирантского общежития почти до самого утра.

Днем в институте Ильдар ходил из угла в угол, совершенно не в состоянии чем-либо заняться, и — странное дело — чем ближе подходило время встречи с Нуралией, тем тягостнее было ожидание. Он едва дотерпел до обеда, перехватил в маленькой институтской столовой первое, что попало под руку, а когда вернулся в лабораторию, узнал, что в его отсутствие заглядывала секретарша директора: Ильдара вызывал Абдурахманов.

Это для всех остальных сотрудников и аспирантов вызов к директору ничего хорошего не сулил, а для Ильдара, не один вечер просидевшего в обширном кабинете своего научного руководителя и соавтора многих работ, было делом обычным.

Наиль Айратович встретил его возле двери в необычном возбуждении, потирая от нетерпения руки. Таким Ильдар его ни разу не видел.

— Ну, дружок, выше голову! — в глазах шефа сверкали веселые искорки. — Из Москвы гость пожаловал. От него твоя судьба зависит. И мы ее с тобой не упустим, а?

Тогда работа над диссертацией у Ильдара была в самом разгаре, оставалось только провести эксперимент, подтверждавший гипотезу, уже теоретически описанную и доказанную. И вдруг — как гром среди бела дня — публикация по точно такой же теме научного сотрудника с Украины. Киевский институт, где тот работал, был в министерстве головным, конкурировать с их базой и возможностями было трудно, да и соперник — уже кандидат наук с именем... В общем, насмарку шли полтора года жизни, да и дальнейшее под вопросом: менять тему диссертации, все начинать сначала... Наиль Айратович подсуетился, пустил в ход свое влияние и обаяние и пригласил инспектора из министерства, от которого зависело практически все: на два идентичных эксперимента никто не раскошелится, надо выбирать, где проводить — в Казани или в Киеве...

— Этот человек нам очень нужен, — Ильдара всегда поражала способность шефа не тратить впустую ни одной минуты, ни одного слова, даже улыбки, тем более возиться зря с бесполезными людьми. Тогда Наиль Айратович был взволнован, как охотник, уже не сомневающийся, что за-

гнанному зверю некуда деваться, — он уедет отсюда с полной уверенностью, что киевлянам до нас далеко. И тогда эксперимент — наш...

Решительный поступок директора института не только спасал диссертацию, но и открывал будущее, давая резкий толчок развитию принципиально новой идее в цветной металлургии — теперь Ильдар Газизович, руководитель крупнейшего в отрасли научно-производственного объединения — мог сказать об этом самому себе без бахвальства. А Абдурахманов понимал, предчувствовал это и тогда, двадцать лет назад, потому и волновался так за какого-то аспиранта — их у него было много...

Ильдар выскочил из директорского кабинета, обрадованный настолько, что с ходу расцеловал секретаршу, и только в тот момент, когда уже летел по коридору сообщить своим в лаборатории — хотя Наиль Айратович строго-настрого даже заикнуться кому-нибудь запретил, — его как будто окатили холодной водой.

«Такой вопрос надо обговаривать в непринужденной обстановке — сегодня в семь у меня дома. Ты должен, — шеф сделал упор на это слово, — гостю понравиться, понимаешь? От этого зависит все...»

Остановившись как вкопанный в длинном институтском коридоре, Ильдар вспоминал, будто прослушивал магнитофонную пленку их разговора, как он бормотал шефу в ответ: «Конечно... обязательно», — и только теперь осознал, что сегодня, в семь вечера, он пойти к Абдурахмановым не может: возле «Космоса» в это время будет ждать Нуралия...

— Равиль, — тронул Юлдашев водителя за плечо, — извини, пожалуйста, давай лучше на дачу...

От неожиданности тот не сразу притормозил, и несколько мгновений машина неслась в том же направлении; до квартиры, где жил шеф, оставалось метров триста, на дачу надо было ехать обратно, через весь город, в противоположную от института сторону. Но даже тени недовольства Равиль показывать не привык и, крутанув баранку, стал разворачиваться...

Она была нежной — Ильдар понял это, как только увидел ее впервые в читальном зале за столиком с надстроенной стойкой, — и ее затаенная нежность, которая — сейчас, дожив до седины, он ясно отдавал себе в этом отчет — могла прорваться только раз в жизни, но уже навсегда...

Город медленно уплывал назад по обеим сторонам размахнувшегося к окраинам шоссе, а машина стремительно неслась вперед, расплескивая лужи на асфальте, «дворники» с натужным скрипом скользили по ветровому стеклу...

Возле кинотеатра она, конечно же, смутилась бы — ведь никогда раньше они даже не разговаривали ни о чем, кроме книг и статей в журналах. А он — как будто согласием встретиться она сняла сковывающий запрет с природной его веселости и остроумия, за которые его так любили и в университете, и в лаборатории, — говорит, говорит...

Рассказывает ей о своей работе, о доме, о матери в деревне — обо всем, что знает и думает, и нет перед ней никаких тайн, можно поделиться самым важным и нужным, — а она только слушает, чутко улавливает каждое слово, улыбается каждой его остроте... И так ходят они вместе до утра, по спящим улицам, и в сумерках он видит ее блестящие глаза, завитки черных волос и целует прохладную щеку возле вязаной шапочки.

Как бы ей пошла фата, как тихо и радостно — никакие силы не могли бы оторвать их друг от друга — она смотрит прямо ему в глаза под разноголосый гул ребят из общежития и выкрики «Горько!», а рука — узкая, слабая, от которой он столько раз не мог отвести взгляда, пока она вписывала названия книг в его формуляр, — рука ее лежит у него в ладони.

Вот она уже с детьми — трое, пятеро сорванцов и непосед, ласкающихся к нему, когда вечером он возвращается с работы, и, усталая от забот, она улыбается ему. Спокойная, поддерживающая мир в семье, живущая одними с ним интересами и проблемами...

— Приехали, Ильдар Газизович, — водитель тронул его за руку и смотрел вопросительно, хоть и привык ничему не удивляться. Машина неподвижно стояла возле высокой ограды с башенками ворот. «Дворники» стирали со стекла бирюзовые капли.

— Да, хорошо, дружок, завтра, как обычно, — он пожал Равилю руку и поднялся с сиденья.

Пока машина разворачивалась — Равиль крутанулся на «пяточке» так, что колеса зависли над канавой, — он закрыл калитку и пошел к дому по узкой дорожке, выложенной квадратными ребристыми плитками. По краям в полутьме угадывались кусты, торчали какие-то прутья.

Он вдруг понял, что никогда не замечал, что тут растет. Даже деревья не замечал, хотя просиживал с гостями и с домашними многие часы в шезлонгах на лужайке напротив крыльца. И вдруг представил, как Нуралия копается в земле здесь, на грядках возле дорожки, и поднимает на звук скрипнувшей калитки голову, поправляет рукой платок, улыбается ему...

Резкий звонок разомкнутой сигнализации вывел его из оцепенения — обычно он успевал толкнуть дерматиновую дверь и нажать невидимую кнопку контрольного сигнала.

Внутри стоял нежилой запах — сколько здесь уже никто не был? Неделю, две?

Юлдашев включил свет, переоделся в широченный даже для его мощного тела зеленый халат — «персидский», говорили гости, когда он выходил к ним в таком барском одеянии. Потом заварил себе крепчайший кофе — врачи запрещали категорически — и, пристроившись на холодном диване, стал пить маленькими глоточками обжигающую горечь. Тишина снова наполнила дом, который — Ильдар Газизович вдруг ощутил это — жил, пока никто не приезжал сюда, собственной жизнью, и хозяин дачи не имел к этой жизни никакого отношения.

Может, в самом деле не имел? И здесь, на шикарной двухэтажной даче, и дома, в четырехкомнатной квартире в центре города — тоже? Может, он везде чужой, или, наоборот, все вокруг чужое...

Телефонный звонок, раздавшийся в полной тишине, был таким неожиданным — он привык к мягкому журчанию своих аппаратов на специальном столике, — что Ильдар Газизович дернулся в раздражении: сколько раз говорил, на кой черт делать звонок на полную мощность!

— Да! — не в силах смять раздражение, бросил он в трубку, хотя понимал, что звонивший ни в чем не виноват.

— Ты что не заехал домой? — жена говорила без обиды или раздражения, просто констатировала факт. И от ясно-

го сознания, что ей все равно, на дачу ли он поехал или еще куда-нибудь, Юлдашеву стало вдруг пусто и горько...

И сердце вдруг защемило.

Должно быть, все-таки врачи правы, подумал он, вреден кофе...

В трубку он ничего определенного не сказал — да она особенно и не ждала ответа. Просто узнала: муж на даче, не попал в дорожную катастрофу, здоров. Остальное ее не интересовало.

— Подожди, — после затянувшейся паузы услышал он, едва не нажав на рычажки, — папа приехал, хочет поговорить с тобой, — и в трубке стало тихо.

Ильдар Газизович ждал, разглядывая едва различимый узор обоев на стене. Раньше он их даже не замечал: что-то темно-малиновое или коричневое. Жена выбирала из того, что предлагали строители... Но сейчас рисунок, нанизанный на частую вертикальную полоску, поразил его не только своей несуразностью, дурным вкусом, будуарной слащавостью, но еще чем-то неприятным, тоскливым. Что-то рисунок ему напоминал, но он никак не мог ухватить что...

— Привет! — услышал Юлдашев бодренький говорок тещи. — Ты что же это, дружок, сбежал на дачу, понимаешь, а? Хоть бы меня предупредил, вместе бы похолостяковали...

— Да так, — ему не хотелось отвечать теще, тем более что тот в свои шестьдесят семь все понимал и между строк, и в телефонных паузах — в отличие от дочери. А уж друг друга они поняли давно и так же давно научились не показывать этого никому — ни домашним, ни посторонним.

— Ничего, все нормально, — Юлдашев хотел было переключить разговор на какую-нибудь деловую тему, но просто сказал: — Завтра увидимся.

— Хорошо, до завтра...

Он положил трубку и с облегчением выключил телефон: больше сегодня никто из семьи беспокоить не будет: жена долг исполнила, дети в школе на дискотеке. А по работе подождут до завтрашнего утра.

Он остался один. Но столь редкая и долгожданная свобода не приносила особой радости...

Тогда, двадцать лет назад, он вышел из института, медленно добрал до перекрестка и долго стоял под дождем.

Зонтика у него не было.

Потом двинулся вдоль институтской ограды налево.

К Абдурахмановым.

Теперь у Ильдара Газизовича не было сил даже встать с дивана. Комната все гуще и гуще наполнялась сумраком. Только потолок светлел. Тишина ощутимо наливалась звоном.

Две недели подряд Ильдар выстаивал тогда каждый вечер у библиотеки, ждал, когда выйдут последние посетители — почти всех он знал в лицо, — но гасли окна на втором этаже — и он прятался за углом.

Подойти к Нуралии он не мог.

Однажды вахтерша в аспирантском общежитии — добродушная старуха — остановила Ильдара.

— Слушай, сынок! — Она всех в общежитии называла сынками-дочками и нередко подкармливала ребят. — Девушка тут какая-то приходила, тобой интересовалась, не заболел ли, говорит.

Ильдар чуть не прошел мимо и вдруг остановился.

— Какая девушка? — переспросил он, хотя уже почти не сомневался: «Формуляр!»

В формуляре библиотеки ясно и четко был написан его адрес.

— Тихая такая...

— И... что вы ей сказали?

— А чего сказала? Сказала, что ничего с тобой не случилось, прыгает, говорю, как стрекозел, только под ночь тебя и вижу, вот как сейчас...

Ильдар уже бежал тогда по ступенькам к выходу, краем глаза успев заметить, как опустила вязание вахтерша, глядя ему вслед.

Он мог тогда успеть до закрытия библиотеки — оставалось еще несколько минут, да пока она еще закроет читальный зал, пока спустится со второго этажа. Даже на улице можно было бы догнать ее...

Ильдар бежал, проскакивая между прохожими.

Когда, задохнувшись, он вылетел из проулка возле библиотеки, окна на втором этаже еще светились. Теперь уже не останавливаясь, как в тот раз, он взбежал по лестнице и дернул дверь — последние посетители уставились на него, но он их не замечал: за столом сидела пожилая женщина в очках...

За два дня до его прихода Нуралия уволилась и уехала. Куда — никто не знал: ни в отделе кадров, ни девчонки в ее общежитии...

Ильдар Газизович встал с дивана и прошелся по темной комнате, задержался возле двери в коридор и замер, сообщая, куда он направлялся...

В тот вечер у Абдурахмановых ты был не в форме, но, замечая недовольство на лице Наиля Айратовича, ничего поделаться с собой не мог, говорил невпопад и от этого совсем терялся... Однако слова не имели равным счетом никакого значения.

Видимо, ты сразу «очаровал», как выразился Наиль Айратович, — если не московского профессора, быстро осоловевшего и пытавшегося, помнится, петь высоким срывающимся голосом, то уж, по крайней мере, дочку своего научного руководителя — точно.

Нескладный подросток, за весь вечер не проронившая, кроме «здрасьте» и «до свидания», ни слова... Самое интересное, что тогда ты ее просто не заметил и с полным непониманием уставился на своего шефа, когда на следующий день тот передал привет от Гюльсары. У Наиля Айратовича хватило такта не заметить идиотского выражения на лице своего аспиранта.

Да, он привык не замечать в жизни того, что его не устраивало.

Тему тогда оставили за институтом, эксперимент удался. Абдурахманов через несколько лет стал академиком, а будущий его зятек с блеском защитил кандидатскую, потом — докторскую...

Ильдар Газизович догадался, что шел к выключателю: темнота в комнате сгустилась настолько, что пришлось добираться на ощупь. Он задел стул и, чертыхаясь, дернул наконец за шнур. Комната осветилась ярким светом люстры. Взгляд невольно скользнул по стенам, и вдруг он остановился как вкопанный, пораженный, что не замечал этого раньше — узоры на обоях точь-в-точь повторяли рисунок железной ограды — он сразу же вспомнил, как брел в тот вечер мимо решетки, свернув налево с перекрестка — возле института, аспирантом которого он был двадцать лет назад.

А мог — направо.

И жизнь была бы иной.



ТАКОЙ НАПОРИСТЫЙ ЯРУЛЛИН

В тот день Зариф Мифтахович не шел, а летел домой как на крыльях и мурлыкал себе под нос веселенькую мелодию. Тринадцать лет! Ровно тринадцать лет он ждал этого дня. И когда сегодня позвонил начальник республиканского объединения Урманов и долго расспрашивал о здоровье, о настроении, о жене Зариф Мифтахович от удивления отвечал так невразумительно, что потом стыдно было вспоминать.

Ни о чем, кроме плана, начальство из Уфы за тринадцать лет ни разу не спросило. А тут...

Все прояснилось в конце этого странного разговора.

— В общем так, Мифтахович. Подумали мы тут и решили: хватит тебе ляжку тянуть директорскую, — у Зарифа Мифтаховича внутри екнуло: «Снимают, что ли? Вроде не за что», — у нас тут в объединении главного инженера в главк забирают, пойдешь?

Зариф Мифтахович растерялся. Надо было ответить что-нибудь вроде: «Подумаю» или: «Грех отказываться от такого предложения»... Сейчас он шел по узкому тротуару возле деревянных домишек осторожно: то здесь, то там доски повыбиты, — глядишь, вместо Уфы можно в больницу попасть, — и перебирал достойные варианты ответа Урманову, но... было уже поздно. Он возьми да и скажи в телефонную трубку сразу: «Пойду». «После такой прыткости

еще передумают», — мелькнула у него беспокойная мысль.

«Да нет же! — думал он. — Ну кого, если не меня? Тринадцать лет эту лямку тянул, вывел завод в передовые, выпел третий квартал подряд получаем! И вообще... Я же не летун какой-нибудь. За эти годы на соседних предприятиях сменилось чуть ли не десяток директоров. Тасуют их, как карточную колоду, и все без толку. Не десяток, конечно, но трех-четырех — точно. А я как вжился в этот завод и, пока не довел до ума, не успокоился. И завод в меня тоже вжился — не оторвать».

«Вот сейчас оторвут наконец!» — запело в душе Зарифа Мифтаховича.

Дело не в том, что переводят в столицу, главное, что наконец заметили, оценили. Не по благу — по заслугам решились республиканское объединение доверить.

Вот что главное.

Зариф Мифтахович сейчас как будто бы с высоты увидел всю свою некороткую, без ярких вспышек жизнь — и вспомнить-то вроде нечего, только одно и встает перед глазами — как каждый месяц за план бились. И каждый день — тоже за план. Головы не поднимал, спины не разгибал. Все уйдут уж давно, а он в кабинете над бумагами корпит, днем по цехам, сам все ошупает; и какое сырье завезли, и в какую тару продукцию загружают...

Когда вернулся домой, решил, что жене пока не скажет: мало ли что... Больше всего он не любил говорить зря. Вот придет вызов, тогда и расскажет.

Но как только жена взглянула на него, сразу насторожилась: «Что это с тобой, случилось что-нибудь?»

Ох, и чутье у этих женщин! Он — ладно уж, зачем ее терзать — решил все рассказать, пусть порадует. Больше-то и радоваться ей особенно нечему: детей бог не дал, мужа после программы «Время» только и видит... От нее и слышал новости за ужином.

Она здорово все запоминала: и на сколько процентов план выполнили где-нибудь на Кубани, и сколько нефти добыли. Про себя он называл эти поздние беседы — «ликбез». Но терпел: во-первых, интересно, во-вторых, надо ж ей кому-то выговориться...

«Ты ж от жизни так отстанешь, — говорила она, — хоть бы телевизор в кабинете поставил, а то так все мимо пройдет...»

«Некогда на работе телевизор смотреть, а жизнь эту... чего ее смотреть, ее делать надо», — добродушно ворчал он.

Так вот хотел Зариф Мифтахович спокойно, даже небрежно сказать ей: «В столицу переводят, хватит кинуть в этом заштатном городишке...» Но голос выдал его, и, когда она кинулась к нему на шею — совсем как в молодости, счастливая и... красивая, он вдруг почувствовал, что у него к горлу комок подкатывает...

— Неужели правда, Зариф?

— Сам Урманов сказал, понимаешь? А он зря не будет. Посылаю, говорит, к тебе нового главного инженера, поднатаскай, мол, его, подготовь себе на замену и собирай матчатки! Вот так-то, Хафизушка моя!

Урманов свое слово сдержал. Недели не прошло, как приехал к Зарифу Мифтаховичу новый главный инженер. За эти дни директор не то чтобы переменялся, но как-то смотрел на все уже иными глазами. Работал не хуже — на заводе совсем стал пропадать: раньше огрехи на потом можно было оставить, до всего руки все-таки не доходили, а тут еще больше во все вникал. Свалку на задворках ликвидировал — комсомольцев подговорил субботник устроить, ограду распорядился перекрасить заводскую... Ходил по территории, примеривался уже как бы со стороны, и сердце сжималось: завод-то свой. Все здесь на его веку появилось, каждая балочка через его руки прошла, не говоря уж о станках, сложном оборудовании, СКБ... Ходил и вспоминал, как он все это выбивал и доставал. И с каждым днем возрастала безотчетная тревога: на кого это оставит?

Но главный инженер ему понравился. С первого взгляда. Молодой, высокий, с широким разворотом плеч, волосы — густые, черные, вьющиеся — отбрасывает назад и смотрит в лицо открыто и прямо. Бывают же такие на земле! Невысокий и лысоватый, Зариф Мифтахович ко всем крупным людям проникался безотчетным почтением. И инженер сразу расположил его к себе: расставив ноги, уверенно и крепко стоял возле окна в директорском кабинете, оглядывая корпуса завода.

Звали его Яруллин Зиннур.

Директор догадывался, какие чувства обуревали его премника — тринадцать лет назад он сам радовался, что ему доверили такую громадину: вся судьба теперь в его руках, и боялся, что не справится...

— Тебе бы киноактером стать, — говорил Зариф Мифтахович главному инженеру — потом уже, когда они познакомились поближе и знал, что тот не обидится, — девки бы афиши сдирали с портретом. А ты лямку тяжелую выбрал...

— Ничего, Зариф Мифтахович, — Яруллин улыбался и привычным жестом откидывал волосы назад, — дела хочется, настоящего своего дела — вот на чем мужчина себя проверяет!

— Это верно, — соглашался Зариф Мифтахович и в эти минуты почему-то особенно остро чувствовал, что у него нет сына — вот такого бы, гордого и упрямого...

— Ты знаешь, Яруллин, в таком хлопотном деле главное не рывки и победы, самое мелкое главным оказывается. Недоглядишь ерунды какой-нибудь — все пошло прахом, хоть ты все вроде бы крупное, важное сделал. Три раза из собственной skóry выскочил и обратно влез без царапинки, но сделал. Вот, например, если болт на газоне валяется — труби тревогу. Значит, человеку, его бросившему, на все наплевать, не боится он ничего, и контроля настоящего нет. Из-за такого не сегодня, так завтра партия в брак пойдет — точно. И понимаешь, Яруллин, просто любить это дело надо. Я сколько раз, бывало, плюну — глаза б мои не видели, пойти куда-нибудь, думаю, в конструкторское бюро, сиди себе за пульманом и по линейке черти. А назавтра как вгрызешься снова...

От симпатии к парню и от желания ввести его побыстрее в курс дела Зариф Мифтахович старался вовсю: самые тонкие секреты, самые верные средства — все открывал главному инженеру, чтобы вооружить его всем необходимым.

Яруллин оказался на редкость сообразительным и цепким парнем: все схватывал на лету, во все старался влезть и вникнуть сам. И, что особенно нравилось Зарифу Мифтаховичу, — не боялся говорить свое мнение, отстаивать точку зрения. Пусть говорил, еще не понимая всей тонкости и сложности производства, порой и невпопад. «Знание придет, — думал директор, — главное, решительность останется, напористость... — а это характер».

С самого утра до конца смены они колесили вдвоем по заводу, и Зариф Мифтахович удивлялся, сколько всего он, оказывается, знает о каждом станке и каждом рабочем. А Яруллин не уставал заполнять листочки своей записной книжки резким, неразборчивым почерком, какими-то линиями и значками. А сколько часов просидели они в кабинете — не существовало для нового главного инженера никаких интересов, кроме работы, и от радости, что передает завод в руки человека, так преданного делу, директор готов был здесь дnevать и ночевать...

Они прохаживались по кабинету, и, обнимая главного

инженера за плечи, Зариф Мифтахович рассказывал о заказчиках и поставщиках: мол, у каждого свой нрав, свои манеры. Приладиться надо к каждому, приспособиться — иначе нельзя. И к начальству тоже нужен подход: он вводил его в курс взаимоотношений с теми, кто ими руководил в республиканском объединении, с кем придется контактировать.

Через несколько дней после приезда Яруллина позвонил Урманов.

— Ну, как там посланец наш, потянет?

Зариф Мифтахович от доброты своей и уверенности, что у родного завода будет хороший руководитель, так его расписал, что Урманов рассмеялся.

— Ох, видно, и охота тебе, Мифтахович, вырваться в столицу!

— Да что вы, Талгат Гареевич, — пробормотал Зариф Мифтахович, растерявшись, что его не так поняли, — да я и не рвусь совсем...

— Шучу, шучу, старина. Знаю я Яруллина, он до тебя на Айском заводе работал. Очень энергичный парень. И толковый. Не пошлю же я на такой крупный завод случайно-го человека. А у него — большое будущее.

Зариф Мифтахович все больше в этом убеждался. На третий день Яруллин вызвал к себе конструктора и предложил установить стенд для автоматизированной сборки продукции. Оказывается, такой стенд внедрили на одном из заводов Украины. И — надо же! — не только уговорил одного из самых малоподвижных на заводе людей, но и сразу же от слов перешел к делу: отправил его на Украину за документацией.

Зариф Мифтахович не мог нарадоваться деловитости главного инженера. И хоть раньше десятки раз просчитывал, что конкретно даст заводу каждое нововведение, принимал яруллинские идеи, что называется, «на корню».

Если так пойдут дела, такому человеку наставник вскоре не понадобится.

Вот и сегодня Яруллин стремительно вошел в кабинет Зарифа Мифтаховича, тут же разложил на столе чертежи и стал рассказывать. Голос его был ровным и сильным. Чувствовалось, что он хорошо знает, о чем говорит, глубоко верит в свою правоту.

Заводское оборудование слишком долго простаивает на ремонте. Слесаря не успевают. Предложение Яруллина было простым и толковым. Надо создать единый ремонтный

коллектив для завода. И посылать всю бригаду туда, где она в данный момент нужна. Это и штаты позволит сократить и рациональнее использовать ремонтников. Далее: необходимо построить централизованную мехмастерскую. Яруллин не убеждал даже, не уговаривал, а изливал на собеседника свою уверенность. «А у нас как? — Он сразу стал говорить «у нас», «наш завод», и это особенно нравилось Зарифу Мифтаховичу. — В каждом цехе по несколько слесарей и на них по одному станку. Это в лучшем случае. О каком современном уровне технологии тут можно говорить?»

«Вот каким должен быть современный руководитель! — думал Зариф Мифтахович. — Сколько силы, сколько мощи чувствуется в каждом слове, в каждом движении — энергия бьет фонтаном. И кажется, что ничто и никто не устоит против этого напора.

«Конечно, — прикидывал Зариф Мифтахович, любуясь преемником, — предложения Яруллина не из легких и выльются заводу в копеечку. Да и за две-три недели их не сделаешь. А план, между прочим, никто не скашивал. Стоит ли связываться, тем более что не сегодня-завтра ему придется распрощаться с заводом? — Зариф Мифтахович подумал об этом и устыдился. — Как же можно из-за шкурных соображений тормозить новое, препятствовать Яруллину?»

Тем временем с Украины привезли полную документацию на автоматизированный стенд.

Яруллин по уши влез в новое дело. Выбрал место для установки стенда, заказал проект для центрального мехцеха. Правда, надо было еще материалы в Уфе достать да и сам проект утвердить в головной организации. «Ну, поглядим, как он насчет пробивной силы? — смекнул Зариф Мифтахович и отправил в Уфу самого Яруллина. — Дня за два-три успеет — хорошо. А если с голыми руками приедет — не беда, подучим, как несговорчивых улаживать».

Но Яруллин Зарифа Мифтаховича и вовсе удивил. Он вернулся в тот же день к вечеру! Да как вернулся — материал взят, проект утвержден...

После этого Зариф Мифтахович проникся к Яруллину еще большим уважением и отношения их стали совсем близкими. Полдня не увидит главного инженера в своем директорском кабинете и начинает откровенно скучать Зариф Мифтахович. Идет к стенду или в мехмастерскую, где пропал его любимец. Гордился Зариф Мифтахович и при

случае любил похвастаться им: вот, мол, какой у меня главный инженер!

Только жена почему-то не разделяла его восторгов и, поджав губы, молчала, когда Зариф Мифтахович по вечерам принимался расхваливать своего преемника...

Теперь, если появлялась необходимость ехать в Уфу, Зариф Мифтахович отправлял туда Яруллина. Да и дома, на заводе, старался как бы устраниться от решений — пусть подключится главный инженер. Пусть привыкает к самостоятельности. А он, если необходимо, подправит.

Зариф Мифтахович чувствовал себя как старый ямщик на облучке, что отдал вожжи молодому, горячему, — тот погоняет, глаза горят от прыти удалецкой. А старый рядом спокоен: если что — всегда успеет помочь.

Тем временем наступила осень. Деревья как будто обсыпало желтым, и под серыми, нависшими тучами грустно роняли они свои сухие листья.

«Последняя осень в этом городе, не потому ли так хмурится небо?» — думал Зариф Мифтахович, шагая на работу. Дом его был неподалеку, и он любил каждое утро пройти в потоке заводчан, спешащих к проходной. Уже по одному их виду, по шуткам и приветствиям он чувствовал настроение людей и научился все крупные решения примерять к этому настроению — подходит или надо подождать...

«А хорошо бы и остаться здесь, и поработать вместе с Яруллиным, — вдруг подумал он, здороваясь направо и налево. — Как славно бы у них все получалось: энергия, напор главного инженера и его директорский опыт и смекалка. Как можно было бы завернуть круто — не то что на республику, на всю страну!» Эти мысли показались ему смешными, наивными, и он отгонял их от себя.

А все-таки иногда забудется Зариф Мифтахович и пригрезится ему, что встречаются они каждый день в тихом директорском кабинете с глазу на глаз, говорят о делах и заводских нуждах. Секретарша чай заносит с дымком, заваристый. А за окном ровно гудит завод. К этому гулу Зариф Мифтахович привык, как к стуку сердца: вроде забыл, а стоит прислушаться — стучит, не затихает... И они вдвоем. Как отец с сыном. С прежним главным инженером Зариф Мифтахович по три дня не виделся, и ничего, а Яруллина не увидит день — начинает вроде бы скучать.

Об этих мыслях Зариф Мифтахович никому не рассказывал, даже жене, которая уже собрала чемоданы и слы-

шать, конечно, не захотела бы о том, чтобы здесь оставаться. Откуда-то соседи, знакомые — все разузнали и надоедают: когда да когда... Как будто ждут не дождутся их отъезда. Зариф Мифтахович понимал, что глупо было бы поворачивать вспять, и потихоньку личные свои вещи и бумаги из кабинета домой перенес: ведь со дня на день должны позвонить и вызвать. Но прошло уже три месяца, а Урманов словно забыл о нем: не звонит. Яруллин делами уже не хуже Зарифа Мифтаховича управляет. Или набраться смелости и самому позвонить, напомнить... Нет, неудобно. Еще подумает, что только и мечтает директор о том, чтобы в Уфу улизнуть.

Урманов обычно звонил до десяти утра, поэтому в последнее время Зариф Мифтахович под любыми предлогами из кабинета утрами не выходил. Вдруг позвонят из Уфы, а его нет на месте, пока на заводе разыщут...

Но дни шли, а долгожданного звонка все не было.

Вот и сегодня из Уфы ни звука. Уже двенадцатый час. Пора по цехам. Он решил еще перебрать давно уже пересмотренные и расписанные бумаги. Может, заседание там какое-нибудь и Урманову с утра некогда было позвонить? Плохое настроение только усугублялось тем, что Яруллин опять в Уфу уехал — чтобы не пропустить звонка, Зариф Мифтахович все время по столичным делам отправлял главного инженера. Жена настойчиво советовала самому съездить и вроде бы по делу к Урманову зайти.

Тем временем часы пробили полдень. Зариф Мифтахович понял, что звонка сегодня не будет, и отшвырнул бумаги. Накричал на секретаршу, что не отправлены письма со вчерашнего дня. В цехах цеплялся без причины, ходил хмурый и недовольный. А тут еще Нигматуллина — сборщица из второго цеха, старейшая работница, которую он к ордену представил, — возьми и спроси его: «Зариф Мифтахович, правда, что ли, покидаете нас?»

Директора как будто кипятком облили. На секунду он замер на месте, не зная, что сказать. Грохот стоял в цехе, Нигматуллина смотрела из-под косынки прямо ему в глаза. Зариф Мифтахович повернулся и, ничего не ответив, пошел к себе выпить валидолу — что-то сердце жало у него от всей этой неопределенности.

Навстречу ему бежала секретарша — даже плащ не накинула. «Наорал на человека из-за пустяка: письма не отправила, видите ли, как будто на почте они две недели не проваляются, — довел до того, что уже трясется от стра-

жа», — подумал Зариф Мифтахович, и боль в сердце усилилась.

— Зариф Мифтахович, Зариф Мифтахович! — кричала издалека секретарша. — Вас Уфа просит!

— Уфа? — переспросил директор, не веря своим ушам. Он сразу понял, что это Урманов и сейчас кончится наконец это затянувшееся ожидание. — Меня? — И как будто только в этот момент осознав глупость вопроса, припустил так, что вся боль из сердца сразу улетучилась.

— Куда вы, Зариф Мифтахович? — остановила его секретарша. — Я сюда разговор перевела, к начальнику цеха!

— Валечка, спасибо! — успел крикнуть он и бросился назад, в цех.

— Здравствуй, Зариф Мифтахович! — услышал директор далекий, как из-под земли, голос Урманова. Говорил тот неторопливо, а директор, задыхаясь то ли от бега, то ли от волнения, отрывисто отвечал на обычные расспросы о плане, о заводе, ради которых не стоило ждать так долго.

— Кстати, Зариф Мифтахович, познакомился я тут недавно с предложениями твоего главного инженера — глубоко копнул, ничего не скажешь. Как это ты, с твоим опытом, не оценил... — Зариф Мифтахович настолько не ожидал такого поворота, что лишился дара речи. «Как не оценил? Как не оценил? — мелькало у него в голове. — Все предложения у нас внедряются!» Но вклиниться в речь начальника не было возможности. Тот с подъемом стал говорить, какое сейчас время, как нужны новые идеи и новые подходы. Зариф Мифтахович с этим соглашался, но понять Урманова не мог.

— В общем, Зариф Мифтахович, ты не обижайся, взвесили мы тут все и решили Яруллина взять главным инженером объединения.

Трубка в руке у Зарифа Мифтаховича стала тяжелой, и через стеклянное окно в камерке он пристально вглядывался, как топчется возле дверей начальник цеха, боясь помешать затянувшемуся разговору с Уфой и не решаясь уйти — вдруг понадобится директору. И тут все остальное тоже предстало в ясном свете — и терпение Урманова, который до сих пор бросал трубку, даже не дослушав его «до свидания», и частые поездки Яруллина в Уфу...

Через полгода Зарифа Мифтаховича вызвали в город на совещание. С того памятного телефонного разговора он был в столице только проездом в отпуск и в этот раз хотел

отказаться под благовидным предлогом. Но начальник планового отдела, однокашник и друг Зарифа Мифтаховича, к которому тот позвонил разузнать, что за совещание, сразу обрезал все надежды:

— Ты знаешь пословицу: «Отсутствующие виноваты»? Всех директоров собираем, планы будем перетряхивать, ты хочешь, чтобы тебе подбросили, от чего остальные откажутся?

Речь шла о плане, и тут было не до сантиментов. Тем более что все связанное с неудачным переводом в объединение для Зарифа Мифтаховича отодвинулось в прошлое, перестало волновать, как затянувшаяся старая рана. Жизнь вошла в прежнюю колею, и он, как раньше, бегал по цехам, ругался по телефону с поставщиками и обхаживал заказчиков. Только в первые дни у него опустились руки, но, вернувшись с курорта, Зариф Мифтахович с еще большей одержимостью вгрызся в дело, словно желая доказать Урманову и всем, что он еще чего-то стоит... Завод и раньше был на хорошем счету, а теперь медленно, но неуклонно выходил в передовые и в объединении, и в отрасли... Вот только программу «Время» он теперь смотрел каждый день вместе с женой. Как будто очнулся и увидел, что вокруг идет жизнь... И другими глазами стал смотреть на людей.

На совещании Яруллин сидел вместе с Урмановым.

К прежней его решительности и напористости добавилось спокойствие и начальственная неторопливость. Сознание собственного достоинства сквозило в каждом слове и сдержанных жестах. Он долго и хорошо говорил о необходимости модернизации оборудования, о введении новых технологических линий. Все было правильно, и два раза его выступление прерывали аплодисменты.

Когда Урманова прямо с совещания неожиданно вызвали в обком, Яруллин пересел на председательское место и задавал выступавшим толковые вопросы.

— Ты видишь, как твой-то? — наклонился к Зарифу Мифтаховичу знакомый директор завода из соседнего города.

— Вижу... — кивнул тот головой.

— Недавно в Москву ездил с отчетом, пока старик отдыхал в Кисловодске. Говорят, фурор там в министерстве произвел...

Урманова, несмотря на далеко не пенсионный возраст, директора называли между собой «стариком».

Удивило Зарифа Мифтаховича не то, что его бывший главный инженер произвел в Москве фурор, а то, что свой отпуск он провел с женой тоже в Кисловодске. Как они с Урмановым там не увиделись?

Зариф Мифтахович на «преемника» старался не смотреть, и взглядами они ни разу не встретились. Но как только закончилось совещание, Яруллин из-за стола президиума направился прямо к Зарифу Мифтаховичу. Широко улыбаясь и раскинув руки, он готов был расцеловать бывшего своего директора, но ограничился тем, что долго тряс руку и, не замечая обтекавших их с двух сторон людей, расспрашивал о заводе, интересовался здоровьем жены...

Зариф Мифтахович также открыто и доброжелательно разговаривал с главным инженером объединения — с той долей фамильярности, на которую имеет право человек, радующийся взлету бывшего своего подчиненного.

— Что же ты не приехал ни разу на завод? — только и спросил он Яруллина.

— О, дорогой Зариф Мифтахович, здесь дел невпроворот, а я ведь могу только как вы учили — с полной отдачей. Некогда.

— Да-да, — неопределенно кивал головой Зариф Мифтахович.

Конференц-зал тем временем опустел, и Яруллин стал прощаться.

Если бы Зариф Мифтахович наблюдал эту сцену со стороны, как все присутствовавшие на совещании, он бы подумал, что встретились старые знакомые, причем демократичный молодой начальник не гнушается поговорить с бывшим шефом запросто, отбросив чины и субординацию... Но Зариф Мифтахович стоял неподвижно с напряженным лицом и долго смотрел, как по коридору широко шагает Яруллин, важно, с достоинством неся свое крупное тело и отбрасывая назад длинные вьющиеся волосы.

Он знал, что бывший главный инженер приезжал за своими вещами в воскресенье, когда Зариф Мифтахович был в отпуске, и что трудовую книжку и все документы с завода ему выслали почтой. Знал, что ремонтники на заводе вернулись к прежней системе, потому что мелкие неполадки вовремя не устранялись и это вело к авариям. А стенд, о котором инициатор его создания забыл спросить своего бывшего начальника, разобрали за ненадобностью и потому, что он устарел: смежники с Украины давно от него отказались. Все проекты главного инженера вы-

лились, конечно, в копеечку, но не этого было жаль Зарифу Мифтаховичу. И не места за столом в президиуме рядом с Урмановым — тоже. Все можно было пережить — и это, и слезы жены, и усмешки или сочувствие соседей, знакомых, и обет молчания, который негласно, без его ведома, установился на заводе, как будто не было там никогда человека по фамилии Яруллин... Одного только не мог Зариф Мифтахович забыть и простить себе — как любовался главным инженером, стоявшим у окна его кабинета и покачивавшимся с носков на пятки — как перед забегом на большую дистанцию. А Зариф Мифтахович подумал тогда с острой тоской, с какой никогда в жизни не переживал до этого: «Вот такого бы иметь сына...»

«Такого мне не надо», — почти вслух сказал он, позже всех заходя в столовую.

Там были накрыты для участников совещания столы и оставались свободными только столики в конце зала. Зариф Мифтахович направился было к ним, как вдруг услышал голос своего однокашника, начальника планового отдела объединения.

— Зариф, иди к нам, у нас есть место.

Уже усевшись и поздоровавшись со всеми, Зариф Мифтахович заметил неподалеку Яруллина. Тот оживленно беседовал с двумя незнакомыми мужчинами.

— Из обкома, — шепнул однокашник, проследив взгляд Зарифа Мифтаховича.

И тут что-то подтолкнуло Зарифа Мифтаховича.

— Ты помнишь Кольку Соколова из нашей группы? — громко спросил он.

— Как не помнить, это ж наш куратор в министерстве, — удивился тот. — Если б не он, неизвестно, как бы мы план вытягивали. А что?

— Да встретил его недавно в Москве — случайно, в театре. Потолстел, полысел, но по-прежнему такой же, как зацепит кого-нибудь, не отпустит...

И краем глаза заметил, что Яруллин прислушивается к их разговору.

— Ты помнишь, — загорелся начальник планового отдела, — как он разнес в пух и прах старосту нашего: карьериста и тому подобное? Но ты его лучше меня знаешь — вы же были не разлей-вода!

— Да. Он и сейчас такой же, все воюет за справедливость... Расспрашивал про мои дела...

Пообедав и попрощавшись с однокашником, Зариф

Мифтахович быстро пошел на первый этаж к гардеробу. Там возле вахтера в стенных нишах были неосвещенные телефоны-автоматы. Зайдя в кабинку, он закрыл за собой стеклянную дверь и стал ждать.

Вскоре в вестибюле появился Яруллин. Он спускался по лестнице и, оглядываясь вокруг, направился к подскочившему со стула вахтеру, потом вышел на улицу.

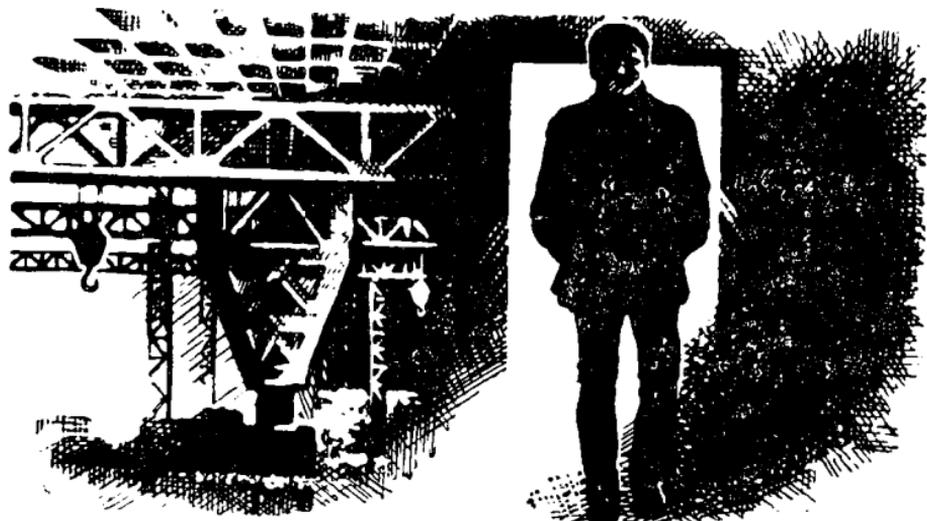
Зариф Мифтахович терпеливо ждал.

Вернувшись назад, Яруллин остановился неподалеку от кабинки телефона-автомата, как бы в раздумье, рассеянно поглядывая на проходящих. И когда вестибюль опустел, оглянулся и напрягся лицом — из кабинки Зарифу Мифтаховичу было прекрасно видно, как он нервно покусывает губу. Зариф Мифтахович изучал его лицо, как будто впервые его увидел.

И только удивлялся тому, как раньше не почувствовал этого человека, прожив столько лет на земле и научившись понимать других людей с полуслова, полувзгляда... Как будто затмение какое-то нашло!

Если такой дешевый крючок заглотил, подслушав нарочный рассказ о друге-кураторе из министерства, и стоит сейчас, соображая, куда подевался его бывший директор, что от него ждать? И ведь подошел бы и заговорил, постарался бы обворожить. А зачем? На всякий случай. Чтобы обойденный им по службе не перекрыл пути наверх. А может, еще и вышел бы на высокого друга, похлопотал... Он, Яруллин, далеко вперед смотрит и дорогу туда мысленно уже проложил...

«Интересно, на что бы он пошел, пообещай я ему похлопотать? — подумал Зариф Мифтахович. — Закукарекал бы, коли потребовалось? Закукарекал бы!» — решил твердо и однозначно, толкнул дверцу кабинки и зашагал мимо Яруллина — с той усмешкой на лице, с которой изучал его мгновение назад через стекло.



НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Впереди, по краям центральной дороги заводского парка, горят фонари. Им-то все равно, когда светить, — в будни или праздники. А вот дежурить в праздничную ночь — нет ничего тягостнее. Правда, при виде фонарей настроение у меня улучшилось и ноги понесли быстрее. Как будто вместе с ними легче будет всю ночь без сна куковать.

Вот и наш цех. В полном безмолвии заводских корпусов он неузнаваем. Темные, унылые окна. Серые, застывшие стены. Кажется, встретил меня с укором: не надоело ли, товарищи дорогие, праздновать?

Не успел я войти в дверь, как увидел, что навстречу бежит мастер с соседнего участка. Он дежурил передо мной и едва дождался пересменки.

— Здорово! Тут все в порядке, — намолчался, видно, за весь день, и поговорить хочется, и домой побыстрее убежать. — Ты ложись и спи, ничего не случится, — посоветовал он. — Вот только в три часа ночи не забудь печи включить.

— Да понятно, — успокаиваю я его. Меня начальник участка Калимуллин уже предупреждал об этом. — Тяжело рубильник, что ли, включить?

— Смотри, а то завтра весь цех полдня простоит: они ж должны к началу работы прокалиться как следует...

Припустил он по центральной аллее: в самый разгар успевает в компанию...

Обойду-ка я, хоть он и успокаивал, весь цех. Надежнее будет.

Дежурный следит, чтобы не произошло чего-нибудь чрезвычайного. Пожар, например, чтобы не возник... Но откуда тут пожару взяться, если в цехе все остановлено и источники энергии отключены? Что поделаешь: приказ начальства. А он, как известно, обсуждению не подлежит. Его надо исполнять, и точка.

Обычно те, кому по очереди или по жребию не повезет, ставят телефон поближе и на всю ночь преспокойно ложатся спать, потому что трудно себе представить желающего вытащить из цеха полутонный станок или заготовки в центнер весом...

Но праздник, конечно, испорчен. Остается последовать примеру умных людей, сладко храпевших в этой мертвой тишине...

«И хоть в этом поддержать существующие традиции, — усмехнулся я, — а не лезть на рожон, как выражается мое начальство в лице товарища Калимуллина».

Так я привык к невообразимому шуму и грохоту, царящему здесь в рабочее время, что звенящая тишина кажется зловещей. Одинокая лампочка возле каморки дежурного не в силах разогнать темноту, заполнившую все, вплоть до потолочных перекрытий. Станки застыли, как чучела. Краны замерли доисторическими чудовищами.

Зря я негодовал на волевое решение товарища Калимуллина. Во-первых, по его логике, кому же дежурить в самое неудобное время, как не самому нерадивому работнику? А во-вторых, может быть, и не пришлось бы увидеть свой цех таким — застывшим и безмолвным. Как будто специально подготовившимся к откровенному разговору со мной напоследок — прежде чем покину эти стены...

А как гостеприимно, казалось мне, распахнул он свои двери год назад, когда приехал я сюда по распределению после института...

Кажется, было это только вчера...

«Привет! Мы тут с ног валимся: на участке всего два мастера, — обрадовался тогда Калимуллин, — если можешь, выходи завтра же...»

Мне тогда он понравился: плохо выбритый, в кепочке, с умными цепкими глазами, смотрит и будто насквозь тебя

видит. И рабочие понравились. И даже обшарпанный столик в углу комнаты, выделенный для меня.

Все начиналось хорошо, и каждый вечер, возвращаясь со смены, я ощущал настоящую гордость от мысли, что неплохо мы все вместе поработали.

Даже в общежитии, засыпая, думал о завтрашней работе. И все было бы нормально, не начни я приглядываться кое к чему. Например, как оси грузят на машины. Точно по той же «технологии», что и сто лет назад. Вручную.

И никому дела до этого нет.

Оказывается, существует на участке общий план модернизации оборудования и механизации таких работ. Каждый год по нему благополучно отчитываются, но оси грузят по-прежнему. Да если бы только оси...

Подъемник установить ничего не стоило: нужно только придумать приспособление. Подготовил я чертеж, присмотрел кое-какие детали из отходов, но нельзя же из примусов такой подъемник собрать! И поделился своей идеей с Калимуллиным.

— Молодец, — сказал он, подняв усталые глаза от бумаг. — Это хорошо, что ты инициативный, давай!

Хорошее слово горы помогает свернуть, и я с радостью принялся за работу. Калимуллину тоже пришлось суетиться — мотор доставать, материалы для подъемника...

—хлопотное дело ты затеял... — сказал он однажды, когда я пришел просить выписать подшипник другого диаметра: заказанные не подошли. — Но деваться от тебя некуда, лишь бы на пользу пошло...

И выписал, конечно.

В один прекрасный день мы все-таки запустили подъемник. И — хоть десятки раз уже проверял, руки у меня тряслись... Ребята подходили и разглядывали, как ловко и без усилий подъемный механизм захватывал тяжеленные оси и устанавливал в пазы. Кто-то даже «ура!» крикнул.

На следующий день иду на работу — люди со мной, даже незнакомые, здороваются.

Чувствовал я себя именинником...

Не прошло и полмесяца — влетел я в кабинет Калимуллина с новой идеей.

— Ты вот что, рационализатор. Сначала сядь и скажи спокойно, зачем нужно и, что немаловажно, во сколько это удовольствие обойдется, — осадил он меня. В глазах его, воспаленных от бессонницы — третий день не вылезал из цеха: конец квартала, — я увидел не то что раздражение, а

досаду: вот, мол, лезет тут со своими идеями, когда план горит.

Как будто то новое, что я предлагаю, завтра этот план не обеспечит!

— Ну, давай, выкладывай свою гениальную идею, — устало махнул он рукой.

Но когда выслушал — на этот раз я предлагал высвободить десяток рабочих на самом трудном и вредном участке, непосредственно возле печей, и узнал, какие для этого потребуются материалы, долго смотрел на меня молча.

— Где я тебе это все возьму? — уже с едва сдерживаемым раздражением спросил наконец Калимуллин. — Это же дефицит. Дают нам крохи, и то все в дело идет, а ты неизвестно на что месячную норму завода требуешь, да еще добавок и то, чего тут сроду не было!

— Как это неизвестно на что? — возмутился я. — Искать надо, требовать, министерство бомбардировать телеграммами!

— Эх, — вздохнул Калимуллин и махнул рукой, — не телеграммы там нужны, а продукция. Из-за этих вот мечтаний твоя смена на прошлой неделе план не выполнила, вовремя газораздатчик на профилактику не поставили, он и не работал три дня. А сейчас расхлебываем...

— Каких мечтаний?! — тут уж я совсем разозлился. — Допотопное оборудование, печи-старушки...

— Мы на этих печах план давали, даем и будем давать, понимаешь? — повысил начальник участка голос. — А проектерством заниматься потом будем, после того как план выполним. Иди. Привет.

На очередном партсобрании я не выдержал, встал и все рассказал. И про ручной труд, и про материалы, и про проекты...

Калимуллин на собрании молчал, только глянул на меня исподлобья.

На следующий день он вызвал меня к себе:

— Вот что, друг. Идеи идеями, а план планом. Пусть это, как ты там говорил, несовременно, но мы на том стоим и стоять будем.

— Кто это «мы»? — перебил я его.

— Завод, — спокойно ответил Калимуллин, — и если этого не понять, лучше уйти куда-нибудь в СКБ, НИИ — не знаю...

— Так вы что, меня с работы уже выгоняете? — спросил я.

— Зачем? Ты парень толковый и мыслящий, только нельзя в облаках витать, работать надо.

— Это ваша философия бескрылой называется, — прямо ему в лицо сказал я.

С тех пор стал он избегать со мной говорить и начал по пустякам привязываться: то недосмотрел, то недочистил, там не проследил, особенно по части ремонта.

А его не ремонтировать — выбрасывать надо, это оборудование!

От такого отношения руки у меня, честно говоря, опустились. Подумывал, не уйти ли в самом деле?

Вскоре послужной список прегрешений моих и ошибок пополнился маленьким чепе.

В тот день на участок пришли два инженера из заводоуправления и попросили остановить несколько станков: по распоряжению главного инженера нужно было сделать какие-то замеры. Калимуллина на участке, как назло, не было — уехал на соседний завод. Пока пришли девчонки из лаборатории, пока пробовали станки в разном режиме, прошло полсмены. А инженеры сидят, покуривают, с лаборантками балагурят. Не выдержал, наорал я на них, чтобы быстрее заканчивали, но время было упущено...

Когда я стал объяснять причину, почему и половины нормы за смену не сделали, Калимуллин аж побелел. Но ничего не сказал и ушел к себе. Поплелся я за ним.

— Как бы я главному инженеру объяснил, если бы отказался?

— А ты рабочим объясни теперь, почему они прогрессивку не получают в этом месяце! — заорал он.

— Но лаборатория же, замеры... — начал было я.

— Да плевать я хотел на эту лабораторию! Сидят там дундуки с дипломами, пусть лучше задницу себе обмеряют!

Тут уж ясно, в чей он огород камешек бросил...

От таких приятных воспоминаний спокойно лежать на диване в комнате дежурного я не мог и пошел включать печи: была уже половина третьего. Рановато немного. Закурил сигарету и медленно зашагал по цеху.

Странная, непривычная тишина. Огонек сигареты светится как кошачий глаз в темноте. Только в этот момент, наедине с застывшими в сплошной темноте печами, которые мне нужно было через несколько минут включить, я ощутил во всем мощь, огромную силу, которую легко привести в движение одним нажатием кнопки запуска.

Вспомнил: Калимуллин говорит и ходит по цеху, как буд-

то это огромное живое существо, с которым надо ладить. И меня тому же учит:

— Прежде чем все менять, ты присмотришься ко всему. Каждую детальку здесь важно понять и знать на ощупь, а потом уже все ломать...

Я прошел уже через весь цех и открыл боковую дверь, ведущую на участок термистов. И здесь сплошная темень. Зажег спичку. Панель, разноцветные кнопки, расположение которых растолковывал мне Калимуллин. Я посмотрел на часы. Скоро три. Сейчас тишина в огромном ангаре нарушится и заполнится гулом печей...

В следующее мгновение меня бросило в жар. Я нажал кнопку, а тишина в цехе не только не сменилась нарастающим гулом, но стала еще более ощутимой и глубокой. Я нажимал, давил на кнопку — бесполезно.

Так. Нет напряжения.

Надо позвонить на подстанцию, может, там ток отключили.

Я бежал и слышал глухой стук ботинок по бетонному полу.

В подстанции трубку никто не брал. Оставалось идти туда самому или звонить дежурному по заводу.

Если я не включу печи, завтра поднимется невыносимый скандал. И на этот раз действительно никому ничего не объяснишь: какой ты инженер, если не сумел разобраться...

— Что случилось? — поднял наконец-то трубку дежурный по заводу. Выслушал и коротко сказал: — Жди звонка, я свяжусь с подстанцией.

Я начал ходить по комнате взад и вперед, физически ощущая, как быстро бежит секундная стрелка на часах.

Как только зазвонил телефон, я схватил трубку.

— У тебя в цеху напряжения не было, — спокойно и легко говорил голос на другом конце провода. — Электрика я разбудил, напряжение дали. Так что включай свои печи.

На участок термистов я бежал сломя голову.

Нажимаю кнопку. Еще, еще!

Тихо...

Печи погружены в сон.

Жаловаться дежурному по заводу смешно: если напряжение есть, значит, неполадка в цеху, а это уже мои собственные заботы.

Если я не смогу включить печи, завтра над этим будет хотеть весь завод.

И зачем я согласился дежурить?

Хотя какое там «согласился». Вызвал Калимуллин, сообщил часы дежурства и — в знак того, что разговор окончен, — сказал свое извечное: «Привет!»

Я думал об этом, а сам тем временем проверял все, что знал и мог знать.

Включенный свет в одно мгновение уничтожил темноту. Весь цех был передо мной, купался в огне сотен ламп и прожекторов. Как будто раньше прикидывался безжизненным, а теперь ждал.

Один термоучасток нем, слеп...

Если обесточен только участок термистов, значит, должен быть отдельный рубильник.

Где?!

Я облазил все.

Рубильника нигде не было.

И вдруг я как очнулся: когда я входил в кабинет к Калимуллину, оттуда выскочил электрик.

В последнюю смену перед завтрашним, рабочим, днем меня назначал сам Калимуллин.

И лучшего повода избавиться от суетливого, лезущего не в свои дела мастера найти было невозможно.

Завтра рубильник незаметно переведут в рабочее состояние, и все будут смеяться над горе-инженером.

Я прошел по всем возможным местам дважды. Рубильника не было.

Снова закурил и вышел на улицу. Мыслей никаких. Только ясное сознание беспомощности.

Восточная часть небосвода уже светлела. Звезды исчезли. Огни фонарей на столбах тоже поблекли. Слабый предутренний ветерок ласкал лицо. Я стоял у двери, куда завтра останется войти только за трудовой книжкой.

Спокойно.

Если все разумные предложения не разумны, возьмемся за глупые. Если рубильника в цехе нет, то он может быть... снаружи!

Сердце билось, словно я не шел, а бежал...

Я не смотрю на часы. Неторопливо, засунув зачем-то руки в карманы, обхожу здание цеха, внимательно приглядываясь ко всему, ни одной щели, ни одного выступа не пропускаю.

Пинаю обломки кирпичей, камешки. Вглядываюсь в каждый сантиметр.

Рубильника нет.

Осталась последняя стена...

...Он скрывался в нише, и, действительно, найти его было трудно.

Когда печи заработали, я даже не обрадовался. Так и должно было быть.

В тот момент, когда я вошел в комнату дежурного, раздался звонок.

— Все в порядке! — крикнул я в трубку, где неразборчиво говорили: «Але! Але!» — и только в этот момент осознал, что это не дежурный по заводу.

— Але, это Калимуллин. Печи включил?

— Включил.

— Рубильник нашел?

— Нашел.

— Долго искал?

— Долго.

В трубке помолчали.

— Ну, молодец. Я так и думал, что найдешь. Привет!

Заснуть я не мог и вышел на улицу.

Небо с востока совсем посветлело. О ночи напоминали только слабые огни фонарей.



ЕЩЕ ПОЖИВУ...

Ранним дождливым утром на окраине города Уфы, на мокром, скользком асфальте перевернулись новенькие «Жигули». Трагически и нелепо погибли молодые мужчина и женщина.

...Всю ночь Халиме снился покойный муж. То он сидел за столом в белой рубашке, которую обычно надевал по праздникам, и, отхлебывая из блюдца чай, что-то рассказывал, то появлялся вдруг непонятно откуда молодым и красивым парнем с ослепительной белозубой улыбкой, какой он когда-то и заворожил ее... И себя видела Халима тоже юной и красивой, стоящей на крыльце их только что отстроенного дома в ярком солнечном свете, запахе свежих сосновых досок, краски, сена и еще чего-то необыкновенно приятного, рождающего радостные воспоминания...

Бесконечно долгий сон время от времени прерывался, и тогда она как бы со стороны слышала собственное тяжелое дыхание, ощущала страшную усталость в руках и ногах и никак не могла понять — проснулась уже или это начался какой-то другой сон. Только думать было невероятно трудно, и Халима, так и не разобравшись, опять погружалась в зыбкую тягучую, как болото, темь, в которой ее терпеливо дожидался муж, чтобы продолжить свой рассказ о жизни

там, куда она безропотно уходила из своей одинокой жизни.

В последний раз он почему-то начал говорить о внуке Урале, который осиротил своих трех несмышленишек, и теперь, мол, неизвестно, что делать с ними — никакой больше родни на всем белом свете у них не осталось. «О чем ты говоришь, старик?» — недовольно перебила его Халима, думая о том, что он, наверное, опять, как тогда, перед смертью, стал заговариваться, но муж вдруг взял и превратился в другого человека.

Халима напрягла зрение, пугаясь большого белого лица с пустыми, как ей показалось, глазами. Остро запахло луком, и она неожиданно очнулась от этого знакомого запаха, дождалась, когда пропадет муть и хватит сил поднять свинцовые веки. Конечно, то была ее подруга и соседка Муршида. Это от нее всегда пахло луком, словно она его жевала и днем, и ночью.

Муршида наклонилась над Халимой — посмотреть, жива ли, увидела широко раскрытые неподвижные глаза, горестно вздохнула и повернулась к пожилой женщине, сидевшей неподалеку на кривом стуле.

— Не знаю, что теперь и делать, — сказала она, глядя мимо женщины. — Подумать только: мать и отец вместе смерть нашли! Куда теперь сиротам деваться? Младенцы ведь совсем... Старшему-то пять будет ли?

— Может, встанет еще Халима? — спросила женщина, не отвечая на вопрос Муршиды.

— Фельдшер смотрел: не жилец, говорит, — пояснила та. — Никаких болезней, а не жилец. От старости, говорит, видно, помирает. На днях наказала мне и корову, и козу, и дом продать. И деньги Уралу послать, а нет теперь Урала-то. Кто же знал, что он еще раньше, чем она... Не вызывай, просила, не беспокой зря, он — человек занятый...

Так они разговаривали обо всем, не стесняясь умирающей Халимы, а та очнулась и несколько раз уже шевельнула пальцами, чтобы дать им знать, что все слышит. Она и в самом деле, выпутавшись из сна, поняла, что о беде сказал не старик, а соседка Муршида, и что беда случилась с ее внуком Уралом, и остались сиротами трое правнуков.

И никак не могла она поначалу вспомнить Урала, путая его с сыном, потом вспомнила и тут же забыла, как его зовут, но мысль о правнуках, которых и видела-то всего раза два, застряла в голове и не дала ей снова утечь в уже ставшую привычной горько-сладостную темь.

«Как это родни нет? — подумала Халима. — Я их к себе

возьму, — пусть живут... Дом просторный, есть корова, огород...»

Погневавшись, она тут же успокоилась и снова вспомнила сына, у которого тоже был сын, дальше она опять запуталась, но это уже не имело большого значения. Младенцев она хорошо помнила — и то, как возились в избе весной и как бегали, босоногие, в одних рубашонках по двору, гоняясь за старым облезлым петухом...

Вскоре женщины ушли. Халима наконец открыла глаза, переморгала набежавшие слезы и попыталась встать, но ноги ее не послушались, в голове словно зажужжали-зашумели пчелы, и она замерла, боясь, что вот от этого первого же усилия и умрет и тогда уже никто не сможет помочь ее правнукам.

Она не заметила, как снова уснула, и опять слышала разные голоса, только слов уже различить не сумела, зато тихо поплакала, жалея и мужа, и сына, и внука, и себя — всех, кого вспомнила в своем туманном забытии. Очнувшись на этот раз, она сразу открыла глаза и, обежав взглядом пустую комнату, поняла, что надо попытаться встать. Именно сейчас, когда она одна и некому ей ни помочь, ни помешать.

...Как-то ей удалось, держась за спинку кровати, подняться на ноги. Ноги не держали, и она чуть не упала. Она хотела было сесть обратно на койку, но сообразила, что если сядет, больше уже не встанет.

Передохнув, Халима с огромным усилием сделала шаг, подволочила отставшую ногу, уперлась руками в стенку и двинулась вдоль нее, радуясь тому, что стенка не качается, как пол.

Из этой комнаты до передней всего пять шагов, но расстояние это показалось ей бесконечным. Все силы Халимы уходили на то, чтобы удержаться на ногах. Падать было нельзя. И останавливаться нельзя. Временами она прижималась грудью и щекой к стене и отдыхала так, чувствуя, как дрожат и подкашиваются непослушные ноги.

В передней первое, что она увидела, была тарелка с хлебом. Есть ей не хотелось, но она дрожащими пальцами взяла маленький кусочек, положила в рот и попыталась жевать. Ее затошнило. Какая-то сила изнутри выталкивала из горла размягченный безвкусный комок. Но она пересилила тошноту и проглотила. «Ну вот и хорошо! — похвалила она себя. — В хлебе большая сила. А в чае еще больше».

Халима представила себе чашку с горячим чаем, и это желание словно подстегнуло ее.

Держась за стенку, она с трудом продвигалась вперед. В полутемных сенях едва не упала, но устояла, не дав сознанию впорхнуть в сладостно-тягучую тьму. Теперь, победив слабость, она ни на мгновение не выпускала из поля зрения далекую цель — дверь в конце сумрачного, длинного туннеля, каким казались ей сени. Солнечные лучи, проникавшие сквозь щели, подбадривали ее, придавали уверенности, что она обязательно дойдет и выйдет на улицу, к людям. Тыщу раз, наверное, открывала и закрывала она эту дверь за сорок лет жизни в доме, но никогда не думала о том, какое, оказывается, счастье — делать самое естественное, самое обычное дело. Может, потому, что никогда они с мужем не ставили перед собой непосильных задач, довольствуясь маленькими, простыми радостями, никому не завидуя, ничего ни от кого не требуя?

Всю жизнь она жила так, как сегодня, сейчас, когда главное — дойти до двери и открыть ее...

Чтобы подбодрить себя и забыть о бессилии, она погрузилась в эти мысли и, когда дыхание вдруг перехватывало, останавливалась и тихо улыбалась, словно подсмеивалась над такой неожиданной глупостью судьбы, не хотевшей признать свое поражение на этот раз. Уж коль встала и прошла столько, кто ей сможет теперь помешать дойти до двери?

И когда наконец коснулась дрожащей, неверной рукой до холодной металлической ручки, дверь открылась как бы сама собой, звонко и радостно скрипнув...

Яркий свет улицы ослепил ее. Держась за косяк одной рукой и прикрывая глаза другой, Халима стояла в дверном проеме. И сам двор, и все, что было в нем, она видела и с закрытыми глазами — каждую доску в заборе, каждое дерево, каждый камень...

За эти дни, когда она, обессиленная, лежала по ту сторону порога, она, конечно же, в мыслях уже порвала с внешним миром, простилась с ним хотя и не без жалости, но спокойно и мудро, как и ее покойный муж девять лет назад. Не раз разговаривая с ним во сне, они вместе обсудили и это, и она согласилась с ним, что обижаться на жизнь нельзя, раз уж она дается не навсегда. У всего живого есть свой срок на земле — и у дерева, и у травы, и у лошади, и у собаки. Надо смириться и уступить свое место на земле кому-то другому... Так она думала тогда, но сей-

час, жмурясь от яркого солнца и вдыхая полной грудью живительный воздух, вдруг ясно поняла, что нет и не может быть ничего прекраснее, чем жизнь. Словно нащупала невзначай оброненный или выскользнувший из пальцев конец невидимой ниточки, связывающей каждого человека с миром...

Вернувшись Муршида застала свою соседку в этом жаждущем жизни состоянии. Конечно, она попыталась отвести старуху назад, в постель, но та, проявляя неожиданное упорство, наотрез отказалась и вскоре уже сидела на гусиной травке, обложенная со всех сторон подушками, и пила горячий чай, который, как известно, не только восстанавливает силы, но и лечит от многих болезней.

— Нельзя мне, оказывается, умирать, — тихо говорила Халима, и Муршида согласно кивала головой. — Вот подниму правнуков, тогда уж... Ты отнеси деньги Марфуге, приведи назад корову. Пусть не обижается на меня, растолкуй... Скажи — решила еще пожить...

Ночью Халима обо всем рассказала во сне своему мужу, и тот согласился, что она правильно сделала: «Надо поднимать ребятишек. Кто же, если не ты? А я подожду...»

Проснувшись, Халима сразу вспомнила сон. И порадовалась, потому что муж одобрил ее. И ее морщинистое, без кровинки лицо разгладилось и помолодело, а ноги удержались на полу, и она встала, побряхывая по привычке, но с радостью ощущая, как приятно холодят ноги сквозь шерстяные носки остывшие за ночь половицы...

Через два дня она отправилась в город за правнуками, которые были один другого меньше.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

- 4 Светят окна в ночи
67 Дождливая осень

РАССКАЗЫ

- 96 Туман
111 Там, за горизонтом...
124 Пуля
138 Зачем?
154 Перекресток
164 Такой напористый Яруллин
177 Ночное дежурство
185 Еще поживу...

Наиль Асхатович Гайтбаев

СВЕТЯТ ОКНА В НОЧИ
Повести и рассказы

Редактор Е. Корнеева
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор В. Тушева
Корректоры Т. Воротникова, В. Дробышева

ИБ № 4144

Сдано в набор 28.04.87. Подписано к печати 08.02.88. Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 10,08. Усл. краск.-отт. 10,5. Уч.-изд. л. 10,63. Тираж 50 000 экз. Заказ 71. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли в Союзе писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Типография № 2 Росглаволиграфпрома, 152901, г. Андропов, ул. Чкалова, д. 8